

МАРТИН ИДЕН



Джек Лондон
Мартин Иден

«Автор»

2026

Лондон Д.

Мартин Иден / Д. Лондон — «Автор», 2026

Блистательный шедевр Джека Лондона, ставший абсолютным мировым манифестом человеческой воли, целеустремленности и безграничного саморазвития. Это пронзительная история обычного матроса, чью душу перевернула случайная встреча с утонченной девушкой из высшего общества. Загоревшись недостижимой мечтой, Мартин решает бросить вызов самой судьбе. Обладая феноменальным упорством, титанической внутренней силой и стальным характером, он начинает бескомпромиссный путь восхождения. Через изнурительный труд, голод и сотни отказов, герой совершает подлинный интеллектуальный прорыв, превращаясь из рядового рабочего в гениального творца. Роман поражает тем, как абсолютная вера в себя, жажда знаний и негибаемый стержень личности способны сокрушать любые социальные барьеры и переписывать сценарий жизни.

© Лондон Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА I	5
ГЛАВА II	13
ГЛАВА III	21
ГЛАВА IV	27
ГЛАВА V	31
ГЛАВА VI	36
ГЛАВА VII	43
ГЛАВА VIII	50
ГЛАВА IX	56
ГЛАВА X	62
ГЛАВА XI	67
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Мартин Иден

ГЛАВА I

Дай мне прожить свой век в огне крови!

Дай мне упиться вином мечтателя!

Не дай мне видеть, как этот дом души, сложенный из праха,
рушится в пыль — пустое святилище!

Один из них отпер дверь ключом и вошёл, а следом за ним появился молодой человек, неловко снявший кепку. Одет он был в грубую одежду, сразу выдававшую в нём моряка, и в просторном холле, куда он попал, выглядел явно чужим. Он не знал, куда деть кепку, и уже запикивал её в карман пальто, когда его спутник забрал её у него. Сделал он это спокойно и непринуждённо, и неловкий молодой человек был ему благодарен.

«Понимает, — подумал он. — С ним я не пропаду».

Он шёл за спутником, раскачивая плечами, а ноги сами собой раздвигались в стороны, словно ровный пол под ним то вздымался, то оседал под тяжёлой качкой. Широкие комнаты казались слишком тесными для его размашистой походки, и он до ужаса боялся задеть широкими плечами дверной проём или смахнуть безделушки с низкой каминной полки. Он шаркался то в одну, то в другую сторону, огибая многочисленные предметы и тем самым лишь умножая опасности, существовавшие на самом деле только в его воображении. Между роялем и уставленным книгами столиком было столько места, что там свободно могли бы пройти рядом шестеро, однако он вступил в этот промежуток с опаской. Тяжёлые руки безвольно свисали вдоль тела. Он не знал, куда деть руки и кисти, и когда ему показалось, что одна из них вот-вот заденет книги на столике, он шарахнулся в сторону, словно испуганная лошадь, едва не сбив табуретку рояля.

Он следил за лёгкой походкой человека впереди и впервые понял, что ходит совсем не так, как другие. Его на мгновение обожгло стыдом: до чего же неуклюже он выглядит. На лбу выступили мелкие капли пота. Он остановился и вытер загорелое лицо носовым платком.

— Погоди, Артур, приятель, — сказал он, стараясь скрыть тревогу за шутливым тоном. — Слишком уж много всего сразу для твоего покорного слуги. Дай мне немного прийти в себя. Сам знаешь, я не хотел сюда приходить, да и твоя семейка, подозреваю, не горит желанием меня видеть.

— Всё в порядке, — успокоительно ответил тот. — Не надо нас бояться. Мы люди самые обыкновенные. А, вот и письмо для меня.

Он вернулся к столу, вскрыл конверт и принялся читать, давая незнакомцу возможность прийти в себя. Тот понял его намерение и оценил его. Он обладал редким даром — умением сочувствовать и понимать другого; и под встревоженной внешностью молодого человека эта чуткость уже работала.

Вытерев лоб, он огляделся сдержанно, хотя в его глазах было то выражение, какое бывает у дикого зверя, почуявшего ловушку. Его окружало неизвестное. Он не знал, что может произойти, не представлял, как ему следует себя вести, чувствовал собственную неловкость и боялся, что таким же образом поражены и все прочие его качества и способности. Он был болезненно восприимчив, мучительно застенчив, и насмешливый взгляд, который другой украдкой бросил поверх письма, впился в него, словно удар кинжала.

Он заметил этот взгляд, но ничем себя не выдал: среди прочего он уже успел научиться владеть собой. К тому же удар пришёлся прямо в его гордость. Он проклинал себя за то, что вообще сюда явился, но одновременно решил: что бы ни случилось, раз уж пришёл — выдержит всё до конца.

Черты его лица заострились, в глазах вспыхнул боевой огонь. Теперь он оглядывался уже спокойнее, внимательно подмечая всё вокруг; каждая деталь уютного интерьера отпечатывалась в его сознании. Его широко расставленные глаза ничего не упускали из виду. Но по мере того как они впитывали красоту окружавшего его мира, боевой блеск постепенно угасал, уступая место тёплому сиянию. Красота отзывалась в нём непосредственно, и здесь было чему откликнуться.

Его внимание привлекла картина, написанная маслом, и он не мог от неё оторваться. Мощный прибой с грохотом разбивался о выступавшую из воды скалу; низкие грозовые тучи застилали небо; а за линией прибоя, взяв крутой курс к ветру, шхуна-лоцман кренилась так сильно, что была видна каждая деталь её палубы, и неслась вперёд на фоне бурного закатного неба.

В картине была красота, и она неудержимо притянула его. Он забыл о своей неуклюжей походке и подошёл совсем близко. Но красота вдруг исчезла с полотна. На лице его отразилось недоумение. Он смотрел на то, что теперь казалось небрежным мазком краски, затем отступил.

И тотчас вся красота вновь вспыхнула на холсте.

«Картина с фокусом», — решил он и оставил её в покое, хотя среди множества впечатлений, обрушившихся на него, всё же успел почувствовать негодование: зачем жертвовать такой красотой ради какого-то фокуса?

Он ничего не понимал в живописи. Вырос он на хромолитографиях и литографиях, всегда чётких и ясных — и вблизи, и издали. Масляные картины он, конечно, видел в витринах магазинов, но стекло не позволяло его жадному взгляду приблизиться к ним вплотную.

Он снова посмотрел на своего спутника, читавшего письмо, и заметил лежавшие на столе книги. В его глазах мгновенно вспыхнули тоска и жажда — так голодный человек смотрит на еду.

Одним порывистым шагом, с привычным покачиванием плеч то вправо, то влево, он оказался у стола и с нежностью принялся перебирать книги. Читал названия, имена авторов, выхватывал глазами обрывки текста, ласково проводил по переплётам взглядом и ладонью и однажды узнал книгу, которую уже читал.

Остальные были ему незнакомы — и книги, и авторы. Ему попался том Суинберна, и он начал читать, забыв, где находится. Лицо его светилось. Дважды он закрывал книгу, заложив палец между страницами, чтобы взглянуть на имя автора.

Суинберн!

Это имя он запомнит. У этого человека был глаз — он определённо видел цвет и сияние. Но кто такой Суинберн? Умер ли он лет сто назад, как большинство поэтов? Или всё ещё жив и продолжает писать?

Он раскрыл титульный лист. Да, оказывается, он написал и другие книги. Что ж, первым делом завтра утром он пойдёт в бесплатную библиотеку и попробует раздобыть что-нибудь ещё из Суинберна.

Он снова углубился в текст и потерялся в нём. Не заметил, как в комнату вошла молодая женщина.

Первым он понял, что она здесь, лишь когда услышал голос Артура:

— Руфь, это мистер Иден.

Книга по-прежнему была заложена его пальцем, и, прежде чем он обернулся, его пронзило первое впечатление — не от девушки, а от слов её брата.

Под этим мускулистым телом скрывалась масса трепещущих чувств. От малейшего прикосновения внешнего мира к его сознанию мысли, симпатии и эмоции вспыхивали и переливались, словно языки живого пламени. Он был необычайно восприимчив и отзывчив, а его напряжённое воображение непрестанно находило сходства и различия, связывая одно с другим.

«Мистер Иден» — вот что поразило его.

Всю жизнь его звали просто «Иден», «Мартин Иден» или даже «Мартин».

И «мистер»!

«Вот это, конечно, уровень», — с внутренним изумлением отметил он.

В тот же миг его сознание словно превратилось в огромную камеру-обскуру, и вокруг него возникли бесконечные картины собственной жизни: кочегарки и кубрики, лагеря и пляжи, тюрьмы и кабаки, лазареты для больных лихорадкой и грязные переулки трущоб. И все эти воспоминания связывала одна нить — то, как обращались к нему в разных местах и обстоятельствах.

А затем он обернулся и увидел девушку.

Вся фантазмагория его сознания исчезла при одном её появлении.

Перед ним стояло бледное, почти неземное создание — с большими одухотворёнными голубыми глазами и роскошной массой золотистых волос. Он даже не понял, во что она была одета; он видел лишь, что платье столь же чудесно, как и сама девушка. Она напоминала ему бледно-золотой цветок на тонком стебле.

Нет. Она была духом, божеством, богиней. Такая возвышенная красота не могла принадлежать земле.

Или, может быть, книги не лгали и среди людей высшего света действительно встречались такие женщины. Её вполне мог бы воспеть тот самый Суинберн. Быть может, именно кого-то вроде неё он представлял, создавая свою Изольду в книге, лежавшей на столе.

Всё это множество зрительных впечатлений, чувств и мыслей возникло в одно мгновение. Ни на секунду не прервалась действительность, в которой он находился.

Он увидел, как её рука протянулась к его руке. Она прямо посмотрела ему в глаза и пожала руку открыто и просто, как мужчина.

Женщины, которых он знал прежде, так не здоровались. Да и вообще большинство из них рук не подавали.

В его сознании хлынул поток воспоминаний — картины того, как он знакомился с женщинами при самых разных обстоятельствах, — и едва не захлестнул его. Но он отогнал эти видения и продолжал смотреть на неё.

Никогда прежде он не видел такой женщины.

Женщины, которых он знал!

И тут же по обе стороны от неё, словно в картинной галерее, возникли все они. Целую вечность — хотя на самом деле всего одно мгновение — он стоял среди портретов, где она занимала центральное место, а вокруг теснились другие женщины, которых его взгляд молниеносно взвешивал и оценивал. Она стала мерой, с которой он сравнивал их всех.

Перед ним возникли слабые, болезненные лица фабричных девушек; хихикающие, шумные девицы с южной окраины Маркет-стрит. Женщины из скотоводческих лагерей, смуглые мексиканки, курившие сигареты. Затем их сменили японки — кукольные, семенящие в деревянных гэта; евразийки с тонкими чертами лица, отмеченными печатью вырождения; полнокровные островитянки Южных морей — смуглые, увенчанные цветами.

И всех их вытеснила гротескная, ужасная свора ночных кошмаров: неопрятные, шаркающие создания с мостовых Уайтчепела; обрюзгшие от джина старухи из притонов; вся эта огромная адская свита гарпий — с грязными устами, отвратительных и нечистых, — которые в облике чудовищных женщин пожирали моряков, подбирая отбросы портов, человеческую грязь и тину.

— Не хотите ли присесть, мистер Иден? — говорила девушка. — Я так ждала возможности познакомиться с вами с тех пор, как Артур рассказал нам о вас. Это было так смело с вашей стороны...

Он отрицательно махнул рукой и пробормотал, что ничего особенного не сделал, что любой мужчина поступил бы так же.

Она заметила, что кисть, которой он махнул, покрыта свежими ссадинами, уже затягивавшимися. Взгляд на другую, безвольно свисавшую руку показал то же самое. Кроме того, быстрый внимательный взгляд отметил шрам на щеке, ещё один, выглядывавший из-под волос на лбу, и третий, уходивший вниз и скрывавшийся под накрахмаленным воротником.

Она едва удержалась от улыбки, заметив красную полосу, оставленную жёстким воротничком на загорелой шее. Было очевидно, что к таким воротничкам он не привык.

Женский взгляд не упустил и его одежду: дешёвый, лишённый вкуса покрой, складки на плечах пиджака, целый ряд морщин на рукавах, выдававших мощные бицепсы.

Пока он махал рукой и бормотал, что ничего не сделал, он пытался выполнить её просьбу и усесться в кресло. Он успел заметить, с какой лёгкостью она опустилась на своё место, после чего двинулся к креслу напротив, мучительно сознавая, насколько нелепо выглядит.

Для него это было совершенно новое ощущение. До сих пор он никогда не задумывался, грациозен он или неуклюж. Мысли о самом себе в таком ключе прежде просто не приходили ему в голову.

Он осторожно присел на самый край кресла, испытывая особое беспокойство из-за рук. Куда бы он их ни положил, они казались лишними.

Артур вышел из комнаты, и Мартин проводил его взглядом, полным тоски. Он чувствовал себя потерянным и одиноким в комнате с этой бледной женщиной, похожей на неземной дух.

Здесь не было бармена, к которому можно было бы обратиться за выпивкой, не было мальчишки, которого можно послать за угол за жестянкой пива и с помощью этой общей для всех выпивки завязать непринуждённую дружескую беседу.

— У вас такой шрам на шее, мистер Иден, — говорила девушка. — Как вы его получили? Уверена, это связано с каким-нибудь приключением.

— Мексиканец с ножом, мисс, — ответил он, облизывая пересохшие губы и прочищая горло. — Просто драка. Когда я выбил у него нож, он попытался откусить мне нос.

Он произнёс это совершенно буднично, но в глазах его возникла яркая картина той жаркой звёздной ночи в Салина-Крус: белая полоса пляжа, огни сахарных пароходов в гавани, голоса пьяных моряков вдали, толкающиеся грузчики, иступлённая страсть на лице мексиканца, звериный блеск глаз в свете звёзд, жжение стали в шее, хлынувшая кровь, толпа и крики, два тела — его и мексиканца — сцепившиеся в борьбе, катившиеся по песку и взрывавшие его ногами, и где-то далеко, словно из другого мира, мягкий перезвон гитары.

Вот такая картина возникла перед ним, и он содрогнулся от воспоминания, задаваясь вопросом, сумел бы художник, написавший шхуну-лоцман, изобразить и это.

Белый пляж, звёзды, огни сахарных пароходов — всё это, подумал он, выглядело бы великолепно. А посреди песка — тёмная группа людей, окружившая дерущихся. Нож тоже должен быть на картине; он хорошо смотрелся бы, если бы блеснул в звёздном свете.

Но ничего из этого не проникло в его рассказ.

— Он попытался откусить мне нос, — закончил он.

— О... — произнесла девушка тихим, далёким голосом, и он заметил потрясение на её чутком лице.

Он тоже почувствовал себя потрясённым. На загорелых щеках едва заметно выступил румянец смущения, хотя ему казалось, что лицо горит так же сильно, как тогда, когда на него обрушивался жар открытой топки в кочегарке.

Очевидно, такие грубые вещи, как поножовщина, не годились для разговора с дамой. Люди из книг, люди её круга, о таких вещах не говорили. Возможно, они вообще ничего о них не знали.

Наступила короткая пауза в беседе, которую они пытались завязать.

Затем она осторожно спросила о шраме на его щеке. Уже задавая вопрос, Мартин понял, что она старается говорить на его языке, и решил уйти от этого и заговорить на её языке.

— Это просто случайность, — сказал он, прикоснувшись рукой к щеке. — Однажды ночью, в полный штиль, при сильной зыби, оборвался подъёмник грота-бума, а потом и снасть. Подъёмник был из стального троса и хлестал вокруг, как змея. Вся вахта пыталась его схватить, а я бросился туда и получил по физиономии.

— О... — произнесла она, на этот раз с выражением понимания, хотя втайне его речь была для неё сплошной тарабарщиной, и она гадала, что такое подъёмник и что означает «получил по физиономии».

— Этот человек, Суайнберн — начал он, стараясь привести свой план в исполнение и растягивая звук «и».

— Кто?

— Суайнберн — повторил он с той же ошибкой. — Поэт.

— Суинберн, — поправила она.

— Да, он самый, — пробормотал Мартин, и щёки его снова вспыхнули. — Давно он умер?

— Но я не слышала, что он умер.

Она с любопытством посмотрела на него.

— Где вы с ним познакомились?

— Я его ни разу в глаза не видел, — ответил он. — Но только что, перед вашим приходом, прочитал немного его стихов вон из той книги на столе. Вам нравится его поэзия?

Тут она быстро и свободно заговорила на предложенную им тему.

Мартину стало легче. Он немного отодвинулся от края кресла, крепко держась руками за подлокотники, словно кресло могло внезапно вырваться из-под него и сбросить его на пол.

Ему удалось заставить её говорить на её собственном языке, и теперь, пока она непринуждённо рассуждала, он изо всех сил старался следить за ходом её мысли, поражаясь тому, сколько знаний хранилось в этой хорошенькой голове, и жадно впитывая бледную красоту её лица.

Ему это удавалось, хотя он спотыкался о незнакомые слова, легко слетавшие с её губ, о критические суждения и ход мыслей, совершенно чуждые его сознанию. И всё же они будили его ум, заставляли его трепетать.

Вот она — интеллектуальная жизнь, подумал он.

И вот красота — тёплая, чудесная, такая, о какой он никогда прежде даже не мечтал.

Он забыл о себе и жадно смотрел на неё.

Вот ради чего стоит жить, чего стоит добиваться, за что стоит бороться — да, и умереть.

Книги не лгали. В мире действительно существовали такие женщины. Она была одной из них.

Она будила его воображение, и перед ним разворачивались огромные, сияющие полотна, где проступали смутные гигантские образы любви и романтики, героических подвигов ради женщины — ради этой бледной женщины, золотого цветка.

И сквозь колышущееся, трепещущее видение, словно сквозь сказочный мираж, он смотрел на настоящую женщину, сидевшую напротив и говорившую о литературе и искусстве.

Он тоже слушал, но не отрывал от неё глаз, не замечая ни пристальности своего взгляда, ни того, как вся его мужская природа проступала в глазах.

Но она, женщина, почти не знаящая мужского мира, сразу почувствовала этот пылающий взгляд.

Никогда прежде мужчины не смотрели на неё так.

Это смущало её. Она начала сбиваться, запинаться. Нить рассуждения ускользала.

Он пугал её, и в то же время было странно приятно ощущать на себе такой взгляд.

Воспитание предостерегало её от опасного и недозволенного — тонкого, таинственного, заманчивого; но инстинкты трубным голосом звучали во всём её существе, побуждая переступить границы сословия, положения и приличий и потянуться к этому страннику из иного мира, к этому неуклюжему молодому человеку с израненными руками и красной полосой на шее, оставленной непривычным бельём, который, слишком очевидно, был испачкан и отравлен грубой жизнью.

Она была чиста, и эта его нечистота отталкивала её.

Но она была женщиной — и только начинала постигать парадокс женской природы.

— Как я уже говорила... Что же я говорила? — Она внезапно замолчала и весело рассмеялась, оказавшись в затруднении.

— Вы говорили, что этот Суинберн не дотягивает до великого поэта потому что... — подсказал он. — Вот до этого места вы и дошли, мисс.

Внезапно он почувствовал себя голодным, а от звука её смеха по позвоночнику пробежала восхитительная дрожь.

«Как серебро», — подумал он. — «Как звон серебряных колокольчиков».

И на одно мгновение он оказался в далёкой стране, где под розовыми цветами вишни курил сигарету и слушал колокольчики высокой пагоды, созывавшие в соломенных сандалиях верующих на молитву.

— Да, спасибо, — сказала она. — Суинберн, если говорить в целом, не достигает высоты потому что... ну, он слишком непристоен. Есть немало его стихотворений, которые вообще не следовало бы читать. Каждая строка по-настоящему великого поэта наполнена прекрасной истиной и обращена ко всему высокому и благородному в человеке. Нельзя изъять ни одной строки великого поэта, не обеднив тем самым мир.

— А мне показалось, что это великолепно, — нерешительно сказал он. — То немного, что я прочитал. Я и понятия не имел, что он такой... такой негодяй. Наверное, это проявляется и в других его книгах.

— В той книге, которую вы читали, немало строк, которые вполне можно было бы пропустить, — строго и назидательно ответила она.

— Значит, я их пропустил, — заявил он. — А то, что мне попало, было настоящим. Всё вокруг будто светилось и сияло, и этот свет прямо входил в меня, освещал меня изнутри — как солнце или прожектор. Именно так оно на меня действовало. Но, наверное, я не слишком-то разбираюсь в поэзии, мисс.

Он беспомощно умолк.

Его мучило сознание собственной косноязычности. Он почувствовал в прочитанном величие и сияние жизни, но не мог передать словами то, что ощутил. И сравнил себя с моряком на незнакомом судне в тёмную ночь, который ощупью пробирается среди непривычного бегучего такелажа.

Что ж, решил он, пора освоиться в этом новом мире.

Он никогда не встречал ничего, чего не смог бы постичь, если действительно хотел разобраться. И, значит, пришло время захотеть научиться говорить о том, что жило внутри него, чтобы она могла это понять.

Она становилась всё значительнее на его горизонте.

— А теперь Лонгфелло... — говорила она.

— Да, его я читал, — нетерпеливо перебил он, желая похвастаться своим небольшим запасом книжных знаний и показать ей, что он не совсем уж неотёсанный тупица. — «Псалом жизни», «Эксельсиор» и... пожалуй, всё.

Она кивнула и улыбнулась, и ему почему-то показалось, что улыбка эта снисходительная — даже жалостливо снисходительная.

Он дурак, раз пытается таким образом что-то из себя изображать. Наверняка этот Лонгфелло написал бесчисленное множество стихов.

— Простите, мисс, что я вот так перебил. По правде говоря, я мало что знаю обо всём этом. Это не мой круг. Но я собираюсь сделать его своим.

Прозвучало это почти как угроза.

Голос его стал твёрдым, в глазах вспыхнул огонь, черты лица напряглись. Ей даже показалось, что изменился угол его челюсти: линия подбородка стала жёсткой, неприятно агрессивной.

И одновременно от него словно хлынула волна мощной мужской силы и коснулась её.

— Думаю, вы вполне сможете войти в... в свой круг, — закончила она со смехом. — Вы очень сильны.

Её взгляд на мгновение задержался на мускулистой шее — толстой, жилистой, почти бычьей, загорелой на солнце и словно переполненной грубой жизненной силой.

И хотя он сидел перед ней смущённый и кроткий, она снова почувствовала к нему влечение.

Её поразила внезапная, почти непристойная мысль.

Ей вдруг показалось, что, если она положит обе ладони на эту шею, вся её сила и жизненная энергия перетекут в неё.

Она ужаснулась собственной мысли. Та словно открывала в ней неведомую прежде порочность.

Кроме того, сила казалась ей чем-то грубым и животным. Её идеалом мужской красоты всегда была стройная изящность.

И всё же мысль не исчезала.

Её озадачивало собственное желание прикоснуться руками к этой загорелой шее.

В действительности она была совсем не крепка, и её телу и душе требовалась сила. Но сама она этого не понимала.

Она знала лишь одно: ни один мужчина прежде не производил на неё такого впечатления, как этот — тот самый, кто ежеминутно потрясал её своей ужасной грамматикой.

— Да, я не какой-нибудь хилый, — сказал он. — Когда дело доходит до настоящих трудностей, я могу переварить даже железный лом. Но сейчас у меня несварение. Большую часть того, о чём вы говорили, я переварить не могу. Меня никогда этому не учили. Понимаете, я люблю книги и стихи и, когда выпадало время, читал их, но никогда не думал о них так, как вы. Поэтому и не могу о них говорить. Я словно штурман, потерпевший крушение в незнакомом море, без карты и компаса. Теперь мне надо определить, где я нахожусь. Может быть, вы мне поможете. Откуда вы всё это узнали?

— Наверное, благодаря школе и занятиям, — ответила она.

— Я тоже ходил в школу, когда был мальчишкой, — начал возражать он.

— Да, но я имею в виду среднюю школу, лекции, университет.

— Вы учились в университете? — с неподдельным изумлением спросил он.

Ему показалось, что она стала дальше от него как минимум на миллион миль.

— Я и сейчас там учусь. Посещаю специальные курсы английской словесности.

Он не понял, что именно означает «английская словесность», но мысленно отметил ещё один пробел в своих знаниях и двинулся дальше.

— Сколько мне пришлось бы учиться, прежде чем я смог бы поступить в университет?

Она с воодушевлением встретила его жажду знаний и сказала:

— Это зависит от того, сколько вы уже учились. Вы ведь не посещали средней школы? Конечно, нет. Но начальную школу вы окончили?

— Когда я ушёл, мне оставалось ещё два года, — ответил он. — Но в школе меня всегда переводили в следующий класс без задержек.

В следующий миг, рассердившись на себя за это хвастовство, он так сильно стиснул подлокотники кресла, что кончики пальцев заболели.

И тут же заметил, что в комнату входит женщина.

Он увидел, как девушка поднялась и быстро пересекла комнату, направляясь к вошедшей. Они поцеловались и, обняв друг друга за талии, пошли к нему.

«Должно быть, её мать», — подумал он.

Это была высокая светловолосая женщина — стройная, величавая и красивая. Её платье вполне соответствовало обстановке дома. Мартин любовался его изящными линиями. Вместе женщина и платье напомнили ему актрис на сцене.

Затем он вспомнил, как видел таких же знатных дам в роскошных платьях, входивших в лондонские театры, пока он стоял снаружи и смотрел, а полицейские оттесняли его под навес от моросящего дождя.

Потом память перенесла его в «Гранд-отель» в Иокогаме, где он тоже, стоя на тротуаре, видел знатных дам.

И тут перед его внутренним взором замелькал вся Иокогама — город и гавань, тысяча сменяющихся картин.

Но он быстро отогнал этот калейдоскоп воспоминаний, подавленный настоятельной необходимостью думать о настоящем.

Он понимал, что для знакомства ему следует встать, и с трудом поднялся на ноги. Так он и остался стоять — в брюках, мешковато провисавших на коленях, с безвольно опущенными нелепыми руками и жёстко застывшим лицом, готовясь выдержать предстоящее испытание.

ГЛАВА II

Добраться до столовой оказалось для него настоящим кошмаром. Он то останавливался, то спотыкался, то дёргался, то шарахался в сторону, и временами ему казалось, что идти вообще невозможно. Но наконец он добрался и сел рядом с Ней.

Множество ножей и вилок привело его в ужас. Они ошетинились вокруг невиданными опасностями, и он заворожённо смотрел на них, пока их ослепительный блеск не превратился в фон, на котором одна за другой возникали картины из кубрика: он и его товарищи сидят, едят солонину ножами и пальцами, черпают густой гороховый суп из жестяных мисок помятыми железными ложками. В ноздрах вновь стоял запах протухшего мяса, а в ушах, под скрип раскачивающихся переборок и стон деревянных конструкций, звучало громкое чавканье едоков.

Он наблюдал за тем, как они едят, и решил, что едят они как свиньи.

Что ж, здесь он будет осторожен. Не издаст ни звука. Будет всё время следить за собой.

Он оглядел стол. Напротив сидел Артур, а рядом с ним — его брат Норман. Это её братья, напомнил себе Мартин, и сердце его потеплело к ним. Как же они любят друг друга — все члены этой семьи!

В памяти вспыхнул образ её матери: приветственный поцелуй, а затем они вдвоём, обнявшись, идут к нему. В его мире родители не проявляли такой нежности к детям. Это было откровением — открытием высот существования, доступных людям из другого мира.

Это было самое прекрасное из всего, что он успел увидеть в этом коротком проблеске иной жизни. Он был глубоко тронут и почувствовал, как сердце его тает от сочувственной нежности.

Всю жизнь он голодал по любви.

Его природа требовала любви. Это была органическая потребность его существа. Но он прожил без неё и постепенно ожесточился. Он даже не знал, что нуждается в любви. Не понимал этого и теперь. Он просто видел её перед собой, видел, как она существует, и испытывал восторг. Какая это прекрасная, высокая, благородная вещь!

Он был рад, что мистера Морза за столом нет. Ему и без того достаточно трудно было привыкать к ней, к её матери и к брату Норману. Артура он уже знал хотя бы немного. А отец, он чувствовал, был бы для него уже слишком тяжёлым испытанием.

Ему казалось, что никогда в жизни он так не трудился. Самая тяжёлая работа показалась бы детской забавой по сравнению с этим. На лбу выступили мелкие капли пота, рубашка промокла от напряжения: слишком много непривычных действий приходилось совершать одновременно.

Нужно было есть так, как он никогда прежде не ел; обращаться с невиданными приборами; украдкой поглядывать по сторонам и по чужим движениям угадывать, что и как следует делать; воспринимать поток впечатлений, который обрушивался на него и тут же мысленно разбирался, помечался и раскладывался по полочкам.

Одновременно он ощущал мучительную тоску по ней — глухое, ноющее беспокойство, которое не давало покоя, — и чувствовал в себе острое желание проникнуть в тот мир, по которому она ходила, завоевать право принадлежать к нему. Его мысли то и дело уносились в догадки и смутные планы: как добраться до неё, как подняться до её уровня.

Когда же он украдкой поглядывал на Нормана напротив или на кого-нибудь ещё, чтобы понять, каким именно ножом или вилок следует воспользоваться в тот или иной момент, лицо человека тут же захватывало его внимание, и ум автоматически начинал оценивать его, угадывать, что это за человек, — всё непременно в связи с ней.

А кроме того, нужно было разговаривать: слышать обращённые к нему слова, следить за разговором других и отвечать, когда требовалось, постоянно удерживая язык, склонный к слишком вольной речи.

И, словно всего этого было мало, существовал ещё слуга — неусыпная угроза, бесшумно возникавшая у него за плечом, какой-то зловещий Сфинкс, задававший загадки и требовавший немедленного решения.

Весь ужин его преследовала мысль о чашах для омовения пальцев. Невпопад и настойчиво, десятки раз, он гадал, когда же их принесут и как они выглядят. Он слышал о таких вещах и теперь, рано или поздно, через несколько минут, должен был увидеть их, сидеть за одним столом с возвышенными существами, которые ими пользовались, — и, да, пользоваться ими самому.

Но важнее всего, глубже всех прочих мыслей, хотя и постоянно находясь на поверхности сознания, мучил его вопрос: как вести себя с этими людьми?

Каким должно быть его отношение к ним?

Он снова и снова тревожно бился над этой задачей. Робкие подсказки советовали ему притвориться, сыграть какую-нибудь роль. Ещё более робкие голоса предупреждали: ничего не выйдет, его натура не позволит ему долго держаться такой роли, и он лишь выставит себя дураком.

В первой части ужина, пока он пытался решить, как ему себя держать, он был очень молчалив. Он не знал, что этим своим молчанием опровергает вчерашние слова Артура, который объявил, что приведёт домой на ужин дикаря, и просил их не пугаться: дикарь, мол, окажется весьма интересным.

Мартин Иден в тот момент не мог даже допустить мысли, что брат способен на такую измену — особенно после того, как именно Мартин помог ему выбраться из неприятной переделки.

Так он и сидел за столом, мучаясь от собственной неуместности и одновременно очарованный всем происходящим вокруг.

Впервые в жизни он понял, что еда может быть чем-то большим, чем просто средством утолить голод.

Он даже не замечал, что именно ест. Это была всего лишь пища.

Здесь, за этим столом, насыщалась его любовь к красоте. Еда становилась эстетическим действием — и интеллектуальным тоже.

И интеллектуальным тоже.

Его ум оживился. Он слышал слова, которые ничего ему не говорили, и другие, прежде встречавшиеся ему только в книгах: ни один знакомый ему человек не обладал достаточным умственным кругозором, чтобы произнести их.

Когда такие слова непринуждённо слетали с губ членов этой удивительной семьи, её семьи, он испытывал восторг.

Романтика, красота и могучая жизненная сила книг становились реальностью.

Он пребывал в том редком и счастливом состоянии, когда человек видит, как его мечты выходят из потаённых уголков фантазии и обретают плоть.

Никогда ещё он не находился на такой высоте жизни. Он держался в тени, слушал, наблюдал и наслаждался, отвечая сдержанными односложными словами: ей — «да, мисс» и «нет, мисс», её матери — «да, мэм» и «нет, мэм».

Он подавлял привычку, приобретённую на море, обращаться к её братьям: «да, сэр» и «нет, сэр». Ему казалось, что это было бы неуместно и означало бы признание собственной неполноценности — а этого допустить никак нельзя, если он хотел завоевать её.

Кроме того, так велела ему гордость.

«Чёрт возьми! — однажды воскликнул он про себя. — Я ничем не хуже их. Пусть они знают кучу вещей, которых не знаю я, — я тоже кое-чему могу их научить!»

Но в следующий миг, стоило ей или её матери обратиться к нему «мистер Иден», как его дерзкая гордость исчезала, и он весь начинал сиять от счастья.

Он цивилизованный человек — вот кто он теперь.

Он сидит за одним столом с людьми, о которых читал в книгах, плечом к плечу с ними.

Он сам оказался внутри книг — путешествует по их печатным страницам.

Однако, опровергая описание Артура и являясь скорее кротким ягнёнком, чем дикарём, Мартин лихорадочно искал способ вести себя дальше.

Он вовсе не был кротким ягнёнком, а роль второй скрипки совершенно не подходила мощному, властному складу его натуры.

Он говорил только тогда, когда этого требовала необходимость, и речь его была похожа на его путь к столу: сплошные рывки и остановки, пока он шарил в своём разнородном словаре в поисках нужных слов. Он перебирал слова, которые казались ему подходящими, но боялся неправильно их произнести; отбрасывал другие — те, которые, как он подозревал, здесь не поймут или которые прозвучат грубо и резко.

Но всё время его мучило ощущение, что эта осторожность в выборе слов выставляет его дураком, мешает выразить то, что у него внутри.

Кроме того, его любовь к свободе мучительно противилась этим ограничениям — почти так же, как шея протестовала против накрахмаленного воротничка.

И он был уверен, что долго так не выдержит.

По природе своей он обладал мощным умом и острой чувствительностью, а творческий дух в нём был беспокоен и требовал выхода. Едва в нём зарождалась мысль или ощущение, стремившееся в муках обрести выражение и форму, оно тотчас овладевало им целиком. Тогда он забывал себя, забывал, где находится, и привычные слова — старые инструменты его речи — сами срывались с языка.

Однажды он отказался от чего-то, что ему предлагал слуга, беспрестанно маячивший у него за плечом, и коротко, решительно сказал:

— Пау!

В тот же миг все за столом насторожились, ожидая объяснения; слуга самодовольно обрадовался, а Мартин утонул в унижении.

Но он быстро пришёл в себя.

— Это по-канакски значит «конец», — объяснил он. — Само вырвалось. Пишется: р-а-и.

Он заметил, что она с любопытством и недоумением смотрит на его руки, и, настроенный объяснять, сказал:

— Только что вернулся с побережья на одном из пароходов Тихоокеанской почты. Опаздывали, а в портах Пьюджет-Саунда работали как негры, грузили товар — всякий, смешанный груз, если вы понимаете, что это такое. Вот и содрал кожу.

— О нет, дело было не в этом, — поспешно объяснила она в свою очередь. — Просто ваши руки кажутся слишком маленькими для вашего тела.

Щёки его вспыхнули.

Он воспринял это как разоблачение ещё одного своего недостатка.

— Да, — самоуничижительно сказал он. — Недостаточно велики, чтобы выдерживать нагрузку. Я могу бить руками и плечами, как мул. Они слишком сильные, и когда я врезаю человеку в челюсть, вместе с ним достаётся и рукам.

Он остался недоволен собственными словами.

Его охватило отвращение к себе. Он отпустил поводья, позволил языку говорить слишком свободно и заговорил о вещах, о которых в приличном обществе не говорят.

— Вы очень смело поступили, когда помогли Артуру, — тактично сказала она, заметив его смущение, хотя и не поняла его причины. — И ведь вы совсем его не знали.

Он понял, что она делает, и в тёплой волне благодарности, захлестнувшей его, забыл о своей неосторожной речи.

— Да ничего особенного, — сказал он. — Любой парень сделал бы то же для другого. Та шайка хулиганов сама искала драки, а Артур их вообще не трогал. Они полезли к нему, ну и я полез к ним и немного их отделал. Вот там и осталась часть кожи с моих рук — вместе с несколькими зубами той шайки. Ни за что бы не пропустил такую возможность. Когда я увидел...

Он замолчал с открытым ртом, стоя на самом краю бездны собственного ничтожества и собственной порочности — так, словно едва осмеливался дышать тем же воздухом, которым дышала она.

А пока Артур в который уже раз рассказывал историю о своей стычке с пьяными хулиганами на пароме и о том, как Мартин Иден бросился ему на помощь и спас его, Мартин, нахмурившись, размышлял о том, какого дурака из себя сделал, и ещё решительнее ломал голову над тем, как ему следует вести себя с этими людьми.

До сих пор у него ничего не получилось.

Он был не из их племени и не умел говорить на их языке — именно так он объяснял это себе.

Притвориться одним из них он не мог.

Маскарад провалится, да и сама мысль о притворстве была чужда его природе. В нём не было места фальши и уловкам.

Что бы ни случилось, он должен оставаться самим собой.

Пока он не умел говорить на их языке. Но со временем научится — в этом он был твёрдо уверен.

А пока ему всё равно придётся говорить — на своём собственном языке, только немного приглушив его, чтобы они могли понимать и чтобы он не слишком их шокировал.

И ещё одно: он не станет делать вид — даже молчаливо соглашаясь, — будто знает то, чего на самом деле не знает.

Следуя этому решению, когда два брата, обсуждая университетские дела, несколько раз употребили слово «триг», Мартин Иден спросил:

— Что такое *триг*?

— Тригонометрия, — ответил Норман. — Высшая математика.

— А что такое математика? — последовал следующий вопрос, и почему-то Нормана это рассмешило.

— Математика, арифметика, — ответил тот.

Мартин кивнул.

Перед ним мелькнули почти безграничные просторы знания.

И увиденное обрело для него зримую форму.

Его необычайная способность видеть превращала абстракции в конкретные образы. В алхимии его мозга тригонометрия, математика и весь необозримый мир знаний, который за ними открывался, превращались в пейзаж.

Перед ним расстилались зелёные чащи и лесные поляны, мягко сияющие светом или прорезанные вспышками.

Вдали очертания скрывались и расплывались в фиолетовой дымке, но за этой дымкой, он знал, таилась прелесть неизведанного, манящая романтика.

Для него это было словно вино.

Вот оно — приключение, дело для ума и рук, мир, который можно завоевать.

И тут же из глубин сознания рванулась мысль:

завоевать, чтобы добиться её — этого бледного, словно лилия, духа, сидящего рядом.

Мерцающее видение разорвалось и исчезло, когда Артур, весь вечер пытавшийся разговаривать своего дикаря, вновь обратился к нему.

Мартин вспомнил своё решение.

Впервые он позволил себе быть самим собой — сначала сознательно и намеренно, но вскоре настолько увлёкся радостью творчества, создавая перед слушателями образ знакомой ему жизни, что совершенно забыл обо всём остальном.

Когда-то он был членом команды контрабандистской шхуны *Хэлсион*, захваченной таможенным катером.

Он видел всё широко раскрытыми глазами — и умел рассказать о том, что видел.

Он словно принёс море — живое, пульсирующее — прямо перед ними, людей и корабли на его просторах. Он передал им собственную способность видеть, и они увидели его глазами то, что когда-то видел он.

Из огромной массы подробностей он выбирал самое существенное с чутьём художника, создавая картины жизни, сиявшие и горевшие цветом и светом. Он наделял их движением, и слушатели словно сами неслись вместе с ним на волне грубой, пламенной речи, энтузиазма и силы.

Порой он потрясал их живостью и наглядностью рассказа, грубостью выражений, но за жестокостью тотчас следовала красота, а трагедия смягчалась юмором — его толкованиями странных причуд и извилин матросского ума.

И пока он говорил, девушка смотрела на него широко раскрытыми от изумления глазами.

Его огонь согревал её.

Она задумалась, не была ли холодна всю свою жизнь.

Ей хотелось склониться к этому пылающему, полыхающему человеку, похожему на вулкан, извергающий силу, здоровье и крепость.

Она чувствовала, что должна податься к нему, и усилием воли удерживала себя.

Но одновременно в ней жило противоположное желание — отстраниться, отступить.

Её отталкивали эти израненные руки, потемневшие от тяжёлого труда, так что сама грязь жизни словно въелась в плоть; красная полоса от воротника, бугристые мышцы.

Его грубость пугала её. Каждая грубость его речи была оскорблением её слуха, каждая грубая сторона его жизни — оскорблением её души.

И всё же снова и снова её тянуло к нему, пока ей не начинало казаться, что он, должно быть, злой человек, раз обладает над ней такой властью.

Всё, что прежде казалось ей незыблемым, приходило в движение.

Его романтика и приключения бились о стены условностей.

Перед лицом его беззаботно встречаемых опасностей и лёгкого смеха жизнь уже не казалась делом серьёзного труда и самоограничения. Она превращалась в игрушку — в то, с чем можно играть, что можно беспечно переворачивать вверх дном, беззаботно проживать и наслаждаться, а потом так же беспечно отбрасывать.

«Так играй же!» — звучало в ней.

«Склонись к нему, если хочешь, и положи обе руки ему на шею!»

Ей хотелось крикнуть от безрассудства этой мысли, но тщетно она взывала к собственной чистоте и воспитанности, пытаясь сопоставить всё, чем была она, со всем, чем он не был.

Она огляделась и увидела, что остальные зачарованно слушают его.

Она была бы в отчаянии, если бы не заметила ужас в глазах матери — ужас, в котором, правда, было и восхищение, но всё же прежде всего ужас.

Этот человек пришёл из внешней тьмы. Он был опасен.

Мать видела это, а мать не могла ошибаться.

Её суждению она доверится, как доверялась ему всегда и во всём.

Огонь этого человека больше не согревал её, а страх перед ним перестал быть острым.

Позже, сидя за роялем, она играла для него — и словно против него, с некоторой нарочитой резкостью, будто хотела подчеркнуть непреодолимость пропасти, разделявшей их.

Её музыка была дубиной, которой она безжалостно обрушивала удары ему на голову.

Она ошеломляла его, подавляла, но вместе с тем возбуждала.

Он смотрел на неё с благоговением.

В его сознании, как и в её собственном, пропасть становилась всё шире; но ещё быстрее росло его стремление перебросить через неё мост.

Однако Мартин был слишком сложным сплетением чувств, чтобы просидеть целый вечер, глядя в пропасть, особенно когда звучала музыка.

К музыке он был необычайно восприимчив.

Она действовала на него как крепкий напиток, воспламеняя дерзость чувств, — как наркотик, захватывавший воображение и уносящий его в облака.

Она изгоняла из сознания будничную действительность, наполняла ум красотой, освобождала романтику и словно приделывала ей крылья.

Музыки, которую она играла, он не понимал.

Она была совсем не похожа на удары пианино в танцевальных залах и крикливую медь оркестров, которую он слышал прежде.

Но в книгах ему попадались намёки на подобную музыку, и он в значительной степени принимал её на веру, терпеливо ожидая сначала мелодичных фраз с отчётливым и простым ритмом.

Его озадачивало, почему эти фразы так быстро обрывались.

Едва он успевал уловить их движение и воображение начинало следовать за ним, как они исчезали в хаотическом нагромождении звуков, лишённых для него смысла, и воображение, словно тяжёлое безжизненное тело, падало обратно на землю.

Однажды ему пришло в голову, что во всём этом намеренно заключён отпор.

Он почувствовал в её игре дух противостояния и попытался угадать послание, которое её пальцы выводили на клавишах.

Но тут же отогнал эту мысль как недостойную и невозможную и ещё свободнее отдался музыке.

Прежнее блаженное состояние начало возвращаться.

Ноги его перестали быть землёй, плоть стала духом; перед глазами и словно за глазами засияло великое великолепие.

А затем окружающая сцена исчезла, и он снова оказался далеко, раскачиваясь над миром, который был ему бесконечно дорог.

Известное и неизвестное смешивались в грёзах, теснившихся перед его внутренним взором.

Он входил в незнакомые гавани солнечных стран, ступал по рыночным площадям среди варварских народов, которых ещё не видел ни один человек.

В ноздрах стоял запах островов пряностей — тот самый, который он знал по тёплым, душным ночам в море.

Или он шёл круто против юго-восточных пассатов сквозь долгие тропические дни, оставляя позади пальмовые коралловые островки в бирюзовом море и один за другим поднимая впереди новые островки, также увенчанные пальмами.

Картины возникали и исчезали с быстротой мысли.

В одно мгновение он скакал верхом на мустанге по сказочно окрашенной пустыне Пейнт-Дезерт; в следующее — смотрел сквозь дрожащий от зноя воздух в белёсую могилу Долины Смерти.

А потом грёб веслом в ледяном океане, где огромные ледяные острова возвышались над водой и сверкали на солнце.

Он лежал на коралловом берегу, где кокосовые пальмы спускались к тихо шелестящему прибою.

Останки древнего кораблекрушения горели синим пламенем, и в этом свете танцевали исполнители хула под варварские любовные возгласы певцов, аккомпанировавших себе на звенящих укулеле и гулких тамтамах.

Это была чувственная тропическая ночь.

На заднем плане кратер вулкана чёрным силуэтом вырисовывался на фоне звёзд.

Над головой плыл бледный серп луны, а низко над горизонтом пылал Южный Крест.

Он был арфой.

Вся жизнь, которую он прожил, всё, что составляло его сознание, были струнами.

А поток музыки был ветром, ударявшим в эти струны и заставлявшим их вибрировать воспоминаниями и мечтами.

Он не просто чувствовал.

Ощущение облекалось в форму, цвет и сияние, а всё, что осмеливалось создать его воображение, каким-то возвышенным и волшебным образом становилось зримым.

Прошлое, настоящее и будущее смешивались.

И он продолжал скользить над широким, тёплым миром, проходя через великие приключения и благородные подвиги — к Ней.

Да, вместе с Ней.

Завоёвывая её, обнимая её рукой и унося её с собой в полёт по необъятной империи собственного сознания.

А она, взглянув на него через плечо, увидела в его лице нечто от всего этого.

Лицо его преобразилось.

Огромные сияющие глаза смотрели за пределы завесы звука и видели за ней пульсирующий поток жизни и гигантские призраки духа.

Она была потрясена.

Неуклюжий, косноязычный грубиян исчез.

Остались плохо сидящая одежда, израненные руки и загорелое лицо, но теперь всё это казалось лишь решёткой тюрьмы, сквозь которую она увидела великую душу, пытавшуюся выйти наружу, — безмолвную и неспособную говорить из-за слабых губ, не способных дать ей голос.

Лишь на одно мгновение она увидела это.

А потом перед ней снова оказался прежний неотёсанный парень, и она рассмеялась над причудой собственного воображения.

Но мимолётное видение не исчезло бесследно.

И когда пришло время, Мартин, неловко попрощавшись и собравшись уходить, получил от неё том Суинберна и ещё одну книгу — Браунинга. Браунинга она изучала на одном из своих курсов английской словесности.

Он казался ей таким мальчиком, когда стоял перед ней, краснея и запинаясь в благодарности, что её охватила волна жалости — почти материнской.

Она больше не видела ни неотёсанного грубияна, ни заключённую в нём душу, ни мужчину, который смотрел на неё с такой мужественностью, одновременно восхищая и пугая её.

Перед ней был только мальчик.

Он пожимал ей руку ладонью, такой мозолистой, что она напоминала тёрку для мускатного ореха и царапала ей кожу, и отрывисто говорил:

— Лучшее время в моей жизни. Понимаете, я не привык ко всему этому... — Он беспомощно огляделся. — К таким людям и таким домам. Для меня всё это новое, и мне нравится.

— Надеюсь, вы ещё придёте, — сказала она, когда он пожелал доброй ночи её братьям. Он натянул кепку, отчаянно шарахнулся через дверной проём — и исчез.

— Ну, что ты о нём думаешь? — спросил Артур.

— Он чрезвычайно интересен, словно глоток озона, — ответила она. — Сколько ему лет?

— Двадцать... почти двадцать один. Я спросил его сегодня днём. Я и не думал, что он так молод.

А мне на три года больше, — подумала она, целуя братьев перед сном.

ГЛАВА III

Спускаясь по ступеням, Мартин сунул руку в карман пальто. Вынул из него коричневую рисовую бумагу и щепотку мексиканского табака, ловко свернул самокрутку и закурил. Первую струю дыма он глубоко втянул в лёгкие и медленно, долго выдохнул.

— Бог мой! — произнёс он вслух с благоговейным изумлением. — Бог мой!

И снова повторил:

— Бог мой!

А затем ещё раз прошептал:

— Бог мой!

Рука его поднялась к воротнику. Он сорвал его с рубашки и сунул в карман. Сыпал мелкий холодный дождь, но Мартин подставил ему непокрытую голову, расстегнул жилет и зашагал с великолепным безразличием ко всему на свете. Он едва замечал, что идёт дождь. Он пребывал в упоении, грезил и заново переживал только что минувшие события.

Наконец он встретил Её — ту женщину, о которой прежде почти не думал, поскольку вообще мало думал о женщинах, но которую где-то в глубине души ожидал когда-нибудь встретить.

Он сидел рядом с ней за столом, держал её руку в своей, смотрел ей в глаза и увидел в них прекрасную душу — но не более прекрасную, чем глаза, сквозь которые она сияла, и не более прекрасную, чем плоть, придавшая ей выражение и форму.

И впервые в жизни он не думал о её теле как о плоти. Это было для него новым. О женщинах, которых он знал прежде, он думал именно так — только так.

Её тело было иным.

Он не воспринимал его просто как тело — бренное, подверженное болезням и всем немощам человеческой плоти. Её тело было чем-то большим, нежели одежда души. Оно исходило от неё, было чистым и прекрасным воплощением её божественной сущности.

Само ощущение божественного поразило его.

Оно вырвало его из мира грёз и заставило впервые всерьёз задуматься.

До сих пор ни единого слова, ни малейшего намёка, ни тени мысли о божественном не достигало его сознания. Он никогда не верил в Бога. Всегда был нерелигиозен, добродушно посмеивался над проповедниками и их верой в бессмертие души.

Никакой жизни после смерти, утверждал он, нет. Есть только эта жизнь — здесь и сейчас, а потом вечная тьма.

Но то, что он увидел в её глазах, было душой — бессмертной душой, которая не может умереть.

Ни один мужчина и ни одна женщина из всех, кого он знал, никогда не приносили ему вести о бессмертии.

А она передала.

Она шепнула её ему в тот самый миг, когда впервые взглянула на него.

Её лицо мерцало перед его глазами, пока он шёл: бледное и серьёзное, нежное и чуткое, улыбающееся с жалостью и лаской — так, как может улыбаться лишь дух, — и чистое с такой чистотой, о которой он прежде даже не подозревал.

Её чистота поразила его, словно удар.

Она ошеломила его.

Он знал добро и зло, но никогда прежде ему не приходило в голову, что чистота может быть свойством самого бытия. Теперь же, глядя на неё, он понял: чистота — высшее выражение добра и непорочности; их полнота и есть вечная жизнь.

И тотчас честолюбие его устремилось к этой вечной жизни.

Он не был достоин даже подать ей воды — он знал это. Одно только чудо удачи, фантастическое стечение обстоятельств позволило ему увидеть её, быть рядом с ней, разговаривать с ней в тот вечер.

Это была случайность.

Никакой заслуги в этом не было.

Он не заслуживал подобного счастья.

Его состояние было почти религиозным. Он был смирен и кроток, исполнен самоуничтожения и чувства собственной недостойности.

В таком состоянии грешники приходят к алтарю покаяния.

Он был убеждён в своей греховности.

Но подобно тому как смиренные кающиеся, стоя перед алтарём, порой получают величественное видение будущей славы, так и он увидел перед собой подобие той жизни, которой достигнет, если сумеет завоевать её.

Однако это обладание ею было туманным и неопределённым и совершенно не походило на то обладание, которое он знал прежде.

Честолюбие на безумных крыльях вознеслось ввысь и он увидел себя рядом с ней, на этих вершинах, делящим с ней мысли и вместе с ней наслаждающимся всем прекрасным и благородным.

Это было единение душ — очищенное от всякой грубости, свободное товарищество двух духов, которому он не мог придать определённой формы даже в мыслях.

Да и мыслью это не было.

Собственно говоря, он вообще не думал.

Чувство вытеснило разум. Он дрожал и трепетал от неведомых ему прежде переживаний, блаженно плыл по морю чувственности, где само чувство становилось возвышенным, одухотворённым и уносило его за пределы человеческой жизни.

Он брёл, покачиваясь, словно пьяный, и горячо бормотал:

— Бог мой! Бог мой!

На углу стоял полицейский. Он подозрительно посмотрел на Мартина, а затем заметил его моряцкую походку.

— Откуда у тебя такой вид? — спросил полицейский.

Мартин вернулся на землю.

Он обладал текучей натурой, способной мгновенно приспосабливаться, словно вода, заполняющая любые углубления и щели. Стоило полицейскому окликнуть его — и он тотчас стал прежним Мартином, ясно понимающим положение.

— Хорошо, правда? — весело отозвался он. — Я и не знал, что говорю вслух.

— Сейчас ещё запоёшь, — заметил полицейский.

— Не запою. Дайте спичку — сяду на следующий вагон и поеду домой.

Он закурил, пожелал полицейскому доброй ночи и пошёл дальше.

— Вот это бы тебя растрепало, — пробормотал он себе под нос. — Полицейский решил, что я пьян.

Он улыбнулся и задумался.

— Пожалуй, я и вправду был пьян, — добавил он. — Только не думал, что от женского лица можно так опьянеть.

Он сел в вагон, шедший по Телеграф-авеню в Беркли. В вагоне было полно юношей и молодых людей, которые пели песни и время от времени выкрикивали университетские возгласы.

Мартин с любопытством разглядывал их.

Студенты.

Они учились в том же университете, что и она. В общественном отношении принадлежали к её кругу. Они могли знать её, могли видеть её каждый день — если только хотели.

Ему было непонятно, почему они не хотят.

Почему вместо того чтобы быть рядом с ней в этот вечер, разговаривать с ней, сидеть вокруг неё благоговейным, почтительным кругом, они разъезжают по городу и веселятся?

Мысли его текли дальше.

Он заметил одного — с узкими, щёлочками, глазами и отвислой верхней губой.

Порочный тип, решил Мартин.

На корабле такой был бы подхалимом, ябедой, нытиком.

Он, Мартин Иден, был лучше этого парня.

Мысль эта приободрила его. Ему показалось, что она приблизила его к Ней.

Он начал сравнивать себя со студентами.

Почувствовал силу и сложность собственного мускулистого тела и уверился, что физически превосходит их.

Но они были образованны — и потому могли говорить с ней на её языке.

Эта мысль его удручила.

Но зачем тогда человеку мозг? — страстно спросил он себя.

Всё, что сделали они, сможет сделать и он.

Они изучали жизнь по книгам, пока он был занят тем, что жил самой жизнью.

Его мозг был наполнен знаниями не меньше, чем их, только знания эти были иного рода.

Сколько из них умеют завязать фалиновый узел? Сколько способны встать за штурвал или на вахту вперёдсмотрящим?

Перед ним развернулась вся его жизнь — череда опасностей и отваги, лишений и тяжёлого труда.

Он вспомнил свои промахи и передраги, через которые прошёл, пока учился.

Во всяком случае, в этом у него было преимущество.

Позднее им самим ещё предстояло начать жить настоящей жизнью, пройти через ту же школу, через которую прошёл он.

Что ж.

Пока они будут заняты этим, он сможет по книгам постичь ту её сторону, которой ещё не знает.

Когда вагон пересёк полосу редких домов, отделявшую Окленд от Беркли, Мартин стал высматривать знакомое двухэтажное здание. Вдоль его фасада красовалась гордая вывеска:

HIGGINBOTHAM'S CASH STORE.

Мартин вышел здесь, на углу.

Несколько мгновений он смотрел на вывеску.

Она говорила ему гораздо больше, чем было написано на ней. Казалось, сами буквы источали дух мелочности, эгоизма и мелкого, закулисного плутовства.

Бернард Хиггинботам был женат на его сестре, и Мартин хорошо его знал.

Он открыл дверь своим ключом и поднялся на второй этаж.

Здесь жил его зять.

Внизу находилась бакалейная лавка.

В воздухе стоял запах залежалых овощей.

Продвигаясь ощупью по тёмному коридору, Мартин споткнулся о игрушечную тележку, оставленную одним из многочисленных племянников или племянниц, и с оглушительным грохотом врезался в дверь.

«Скупец, — подумал он. — Ему жаль двух центов на газ, зато он готов свернуть шею собственным жильцам».

Он нащупал дверную ручку и вошёл в освещённую комнату.

Там сидели его сестра и Бернард Хиггинботам.

Она штопала ему брюки, тогда как его худое тело распласталось сразу на двух стульях: ноги свисали с края второго стула; на ногах болтались расхлябанные, истоптанные домашние туфли.

Он поднял взгляд вверх газеты.

На Мартина уставились тёмные, неискренние, колючие глаза.

Мартин никогда не смотрел на него без чувства отвращения.

Что его сестра нашла в этом человеке, было ему совершенно непонятно.

Бернард действовал на него как паразит, как мерзкое насекомое, и всегда вызывал желание раздавить его ногой.

«Когда-нибудь я снесу ему физиономию», — часто утешал себя Мартин, терпя существование этого человека.

Теперь эти крысиные, жестокие глаза смотрели на него с недовольством.

— Ну? — потребовал Мартин. — Говори.

— Я только на прошлой неделе покрасил эту дверь, — наполовину заскулил, наполовину пробормотал Хиггинботам. — Ты ведь знаешь, сколько нынче платят рабочим по профсоюзным расценкам. Надо быть осторожнее.

Мартин собирался ответить, но вдруг понял всю бесполезность ответа.

Сквозь чудовищную душевную убогость этого человека взгляд его упал на дешёвую цветную картинку на стене.

Картинка удивила его.

Она всегда ему нравилась, но теперь он словно увидел её впервые.

Дешёвая, вот что.

Такая же дешёвая, как всё в этом доме.

Мысль его вернулась к дому, который он только что покинул.

Сначала он увидел картины, потом Её — ту, что с такой нежной улыбкой смотрела на него, пожимая ему руку на прощание.

Он забыл, где находится, и забыл о существовании Бернарда Хиггинботама, пока тот не спросил:

— Привидение увидел?

Мартин очнулся и взглянул в эти бусинки глаз — насмешливых, дерзких и трусливых.

И тут словно на экране всплыло другое выражение тех же глаз — то, каким они становились, когда их хозяин торговал в лавке внизу: покорные, самодовольные, маслянисто-льстивые.

— Да, — ответил Мартин. — Увидел привидение. Доброй ночи. Доброй ночи, Гертруда.

Он направился к выходу и споткнулся о распутившийся шов засаленного ковра.

— Дверью не хлопай, — предупредил его Хиггинботам.

Мартин почувствовал, как кровь закипает в жилах, но сдержался и тихо прикрыл за собой дверь.

Хиггинботам торжествующе посмотрел на жену.

— Пьяный, — хрипло прошептал он. — Я тебе говорил, что так и будет.

Она обречённо кивнула.

— Глаза у него и правда блестели, — призналась она. — И воротника не было, хотя уходил он в воротнике. Но, может, он выпил всего пару стаканов.

— На ногах едва держался, — настаивал муж. — Я за ним наблюдал. Через комнату пройти не мог, всё спотыкался. Ты сама слышала, как он чуть не свалился в коридоре.

— Наверное, о тележку Алисы, — сказала она. — В темноте он её не заметил.

Голос Хиггинботама и его раздражение начали усиливаться.

Весь день в лавке он умел смирять себя, оставляя за собой право быть самим собой по вечерам, в кругу семьи.

— Я тебе говорю: этот твой драгоценный брат был пьян.

Голос его сделался холодным, резким, не допускающим возражений; губы словно чекали каждое слово.

Жена вздохнула и промолчала.

Это была крупная, полная женщина, всегда небрежно одетая и всегда утомлённая тяжестью собственного тела, домашней работы и мужа.

— В нём это от отца, говорю тебе, — продолжал Хиггинботам. — Точно так же и околеет в канаве. Ты это знаешь.

Она кивнула, вздохнула и продолжила шить.

Они были согласны в одном: Мартин вернулся домой пьяным.

Им не доставало в душе способности видеть красоту. Иначе они поняли бы, что сияющие глаза и пылающее лицо говорят о первом видении любви, которое открывается юности.

— Вот так он, значит, детям пример подаёт, — внезапно фыркнул Хиггинботам, нарушая тишину, которую сама жена создала своим молчанием и которую он воспринимал как вызов.

Иногда ему почти хотелось, чтобы она чаще ему возражала.

— Если он ещё раз так придёт, ему придётся убраться отсюда. Понятно? Я не потерплю его безобразий — развращать невинных детей своей пьянкой!

Хиггинботаму нравилось это слово. Оно было новым в его словаре и недавно попало к нему в газетной статье.

— Вот именно: развращать. И никак иначе это не назовёшь.

Жена всё так же вздыхала, печально качала головой и продолжала шить.

Хиггинботам снова уткнулся в газету.

— За прошлую неделю он заплатил за стол? — спросил он, не отрывая глаз от газетной полосы.

Она кивнула, затем добавила:

— У него ещё остались деньги.

— Когда он снова в море собирается?

— Думаю, когда истратит жалованье. Вчера ездил в Сан-Франциско, искал корабль. Но деньги у него ещё есть, и он привередлив насчёт того, на какой корабль наниматься.

— Не ему, палубной тряпке, строить из себя господина, — фыркнул Хиггинботам. — Привередливый! Он!

— Он что-то говорил о шхуне, которая собирается отправиться куда-то в неведомые края искать клад. Сказал, что пойдёт на ней, если денег хватит.

— Если бы он хотел остепениться, я бы дал ему место возницы, — сказал муж, но в голосе его не было ни малейшей доброжелательности. — Том ушёл.

Жена встревоженно посмотрела на него.

— Сегодня вечером. Пойдёт работать к Карразерсу. Они платят ему больше, чем я мог себе позволить.

— Я же говорила, что ты его потеряешь! — воскликнула она. — Он стоил большего, чем ты ему платил.

— А ну-ка послушай, старуха, — грозно оборвал её Хиггинботам. — В тысячный раз говорю тебе: не суй нос в мои дела. Больше повторять не стану.

— Мне всё равно, — всхлипнула она. — Том был хороший парень.

Муж бросил на неё свирепый взгляд.

Это был уже открытый вызов.

— Если этот твой брат чего-нибудь стоит, он мог бы взять телегу.

— Он и так платит за жильё, — возразила она. — И он мой брат. Пока он тебе ничего не должен, ты не имеешь права всё время на него набрасываться. У меня тоже есть чувства, пусть я и прожила с тобой семь лет.

— Ты ему сказала, что за чтение в постели я буду брать с него деньги за газ? — потребовал он.

Миссис Хиггинботам ничего не ответила.

Её мимолётный бунт угас. Дух её словно съёжился и растворился в усталом теле.

Муж торжествовал.

Он снова одержал над ней верх.

Глаза его зло сверкали, а слух наслаждался всхлипываниями, которые она издавала.

Он получал огромное удовольствие, заставляя её умолкать и покоряться. В последнее время она легко сдавалась, хотя первые годы их брака были иными — до тех пор, пока дети и его бесконечные придирки не истощили её силы.

— Ну, завтра ему скажешь, — произнёс он. — И ещё, пока не забыл: лучше завтра же позови Мариан, пусть приходит присматривать за детьми. Раз Том ушёл, мне придётся самому ездить с телегой, а ты можешь подготовиться — будешь сидеть внизу за прилавком.

— Но завтра день стирки, — слабо возразила она.

— Тогда встань пораньше и сначала постирай. Я раньше десяти не выеду.

Он сердито смял газету и снова принялся читать.

ГЛАВА IV

Кровь всё ещё кипела у Мартина после встречи с зятем. Он ощупью пробрался по тёмному заднему коридору и вошёл в свою комнату — крошечную каморку, где помещались кровать, умывальник и один стул.

Хиггинботам был слишком бережлив, чтобы держать прислугу, если всю работу могла выполнять его жена. К тому же бывшая комнатка для прислуги позволяла поселить двух жильцов вместо одного.

Мартин положил Суинберна и Браунинга на стул, снял пальто и сел на кровать.

Старые пружины жалобно заскрипели под его тяжестью, но он этого не заметил.

Он начал снимать ботинки, но вдруг устался на белую оштукатуренную стену напротив.

Её пересекали длинные грязно-бурые полосы — следы дождевой воды, просачивавшейся сквозь крышу.

На этом запятнанном фоне начали возникать и пылать видения.

Он забыл о ботинках и долго смотрел на стену, пока губы его не зашевелились.

— Руфь.

«Руфь».

Он и представить не мог, что простое сочетание звуков может быть таким прекрасным.

Имя ласкало слух, и Мартин опьянел от одного лишь его повторения.

— Руфь.

Это было заклинание, магическое слово, способное вызвать чудо.

Каждый раз, когда он произносил его шёпотом, перед ним мерцало её лицо, и золотое сияние заливало грязную стену.

Но сияние не останавливалось на стене.

Оно простиралось в бесконечность, и сквозь золотую глубину его душа устремлялась навстречу её душе.

Всё лучшее, что было в нём, хлынуло наружу могучим потоком.

Одна мысль о ней облагораживала и очищала его, делала лучше и заставляла желать стать ещё лучше.

Это было новым для него.

Никогда прежде он не знал женщин, рядом с которыми становился бы лучше.

Напротив — женщины всегда оказывали на него противоположное действие: рядом с ними он становился грубым, плотским, звероподобным.

Он не знал, что многие из них, при всей своей скверности, делали всё, что могли.

Поскольку сам он никогда не осознавал себя, ему не приходило в голову, что в нём было нечто, заставлявшее женщин тянуться к нему, что именно это влекло их к его молодости.

Они часто докучали ему, но он никогда не докучал себе мыслями о них.

Ему и в голову не пришло бы, что рядом с ним какая-нибудь женщина могла стать лучше.

До сих пор он жил в возвышенной беспечности, а теперь ему казалось, будто все они неизменно тянулись к нему и хватали его своими порочными руками.

Это было несправедливо — и по отношению к ним, и по отношению к нему самому.

Но Мартин впервые начал осознавать себя, а потому был не способен судить беспристрастно.

Он горел от стыда, глядя на видение собственной низости.

Он резко поднялся и попытался увидеть себя в грязном зеркале над умывальником.

Провёл по нему полотенцем и посмотрел снова — долго и внимательно.

Впервые в жизни он по-настоящему увидел себя.

Его глаза были созданы для того, чтобы видеть, но до сих пор они были заняты бесконечно меняющейся панорамой мира, на которую он слишком жадно смотрел, чтобы когда-либо обратить взгляд на самого себя.

Теперь он увидел голову и лицо двадцатилетнего юноши.

Но, не привыкший к подобному взгляду на себя, не знал, как их оценить.

Над широким, почти квадратным лбом росла копна каштановых волос — тёплого орехового оттенка, слегка волнистых, с намёком на завиток. Любой женщине захотелось бы провести по ним рукой; так и просились пальцы погладить эти волосы и пропустить их сквозь пальцы.

Но Мартин отбросил эту мысль как несущественную для неё и долго, вдумчиво изучал высокий квадратный лоб, словно пытаясь проникнуть внутрь и узнать, что в нём заключено.

Что за мозг скрывается за этим лбом?

Этот вопрос неотступно звучал в нём.

На что он способен? Куда заведёт его этот ум? Сможет ли он привести Мартина к ней?

Он задумался, есть ли душа в этих стальных серых глазах, которые нередко казались почти синими и были закалены солёными ветрами над залитым солнцем морем.

Ему хотелось знать и другое: как его глаза выглядят для неё?

Он попытался представить себя ею — представить, как она смотрит в его глаза, — но вообразить это ему не удалось.

Он умел проникать в сознание других мужчин, но только тех, чью жизнь знал.

Её образ жизни был ему неизвестен.

Она была тайной и чудом.

Как мог он угадать хоть одну её мысль?

Что ж, глаза у него честные, решил он.

В них нет ни мелочности, ни подлости.

Смуглое от солнца лицо удивило его.

Он и не подозревал, что настолько потемнел.

Мартин закатал рукав и сравнил белую внутреннюю сторону руки с лицом.

Да, всё-таки он белый человек.

Но руки тоже загорели.

Он повернул руку, другой ладонью напряг бицепс и посмотрел туда, куда солнце почти не добиралось.

Кожа была очень белой.

Он рассмеялся своему бронзовому отражению, представив, что когда-то лицо было таким же белым, как внутренняя сторона руки.

Ему и в голову не приходило, что найдётся немало бледных женщин, чья кожа была бы светлее и глаже его собственной — по крайней мере там, где солнце ещё не оставило своих следов.

Его рот мог бы принадлежать херувиму, если бы полные, чувственные губы под напряжением не имели привычки плотно смыкаться поверх зубов.

Иногда они сжимались так сильно, что рот становился суровым и жёстким, почти аскетичным.

Это были губы бойца и любовника.

Они могли с наслаждением вкушать сладость жизни, но могли и отвергнуть её и потребовать от самой жизни повиновения.

Сильный подбородок и челюсть, лишь слегка обозначающие квадратную силу лица, помогали этим губам повелевать жизнью.

Сила уравновешивала чувственность и действовала на неё как тонизирующее начало, заставляя его любить красоту, исполненную здоровья, и трепетать от чистых, естественных ощущений.

Между губами белели зубы, никогда не знавшие вмешательства дантиста.
Белые, крепкие, ровные — такими они показались ему, когда он их рассмотрел.
Но, продолжая смотреть, он вдруг встревожился.

Где-то в глубине памяти хранилось смутное, почти забытое впечатление: есть люди, которые чистят зубы каждый день.

Это были люди из высшего мира — люди её круга.

Она, должно быть, тоже чистит зубы каждый день.

Что она подумает, если узнает, что он за всю жизнь ни разу не чистил зубов?

Он решил купить зубную щётку и ввести эту привычку.

Начнёт завтра же.

Одних достижений было недостаточно, чтобы надеяться завоевать её.

Ему предстояло изменить себя во всём — даже в таких мелочах, как чистка зубов и воротничок, хотя накрахмаленный воротник казался ему отречением от свободы.

Он поднял руку, потёр большим пальцем подушечку мозолистой ладони и посмотрел на грязь, въевшуюся в самую кожу, которую не отмоет никакая щётка.

Как непохожа была её ладонь на его собственную!

От одного воспоминания по телу пробежала сладостная дрожь.

Как лепесток розы, подумал он; прохладная и мягкая, как снежинка.

Он никогда не думал, что женская рука может быть настолько нежной.

Он поймал себя на мысли о том, каким чудом было бы прикосновение такой руки, и виновато покраснел.

Ему казалось, что такая мысль была бы слишком груба для неё.

Казалось, она унижала её высокую духовность.

Она представлялась ему тонким, бесплотным духом, далеко превзошедшим плоть.

И всё же мягкость её ладони не исчезала из его мыслей.

Он привык к жёстким мозолистым рукам фабричных девушек и рабочих.

Он хорошо знал, почему их руки грубы.

Но её руки...

Они были мягкими, потому что никогда не знали тяжёлого труда.

И перед ним внезапно разверзлась пропасть между ними — пропасть, которая становилась очевидной при одной лишь мысли о человеке, которому не нужно зарабатывать себе на жизнь.

Впервые он увидел аристократию тех, кто не знал труда.

Эта аристократия возвышалась перед ним на стене — словно отлитая из бронзы фигура, надменная и могущественная.

Сам он всегда трудился.

Самые ранние воспоминания были связаны с работой, и вся его семья работала.

Вот Гертруда.

Когда её руки не грубели от бесконечной домашней работы, они опухали и краснели, как варёное мясо, — достаточно было одной стирки.

А вот его сестра Мариан.

Предыдущим летом она работала на консервной фабрике, и её тонкие красивые руки были испещрены порезами от томатных ножей.

Кроме того, зимой, работая на фабрике бумажных коробок, она лишилась двух кончиков пальцев, попавших под нож режущего станка.

Он вспомнил жёсткие ладони матери, когда она лежала в гробу.

Отец трудился до последнего вздоха; к моменту смерти мозоли на его руках, должно быть, достигали полудюйма толщины.

Но её руки были мягкими.

И руки её матери.

И руки её братьев.

Последнее особенно поразило его.

Это было красноречивым свидетельством их высокого положения, огромной пропасти, лежавшей между ней и им.

Он откинулся на кровати и горько рассмеялся, заканчивая снимать ботинки.

Он был дураком.

Его опьянило женское лицо и мягкие белые руки.

И вдруг на грязной штукатурке перед его глазами возникло видение.

Он стоял перед мрачным доходным домом.

Была ночь. Ист-Энд Лондона.

Перед ним стояла Марги — маленькая пятнадцатилетняя фабричная работница.

Он провожал её домой после праздничного вечера.

Она жила в этом мрачном доходном доме — в месте, не пригодном даже для свиней.

Мартин протянул руку, прощаясь.

Она подняла лицо, чтобы поцеловать его, но он не собирался её целовать.

Почему-то он боялся её.

И тогда её рука сомкнулась на его руке и горячо сжала её.

Он почувствовал, как её мозоли трутся о его ладонь, и его захлестнула волна жалости.

Он увидел её жадные, голодные глаза и плохо питающееся женское тело, которое прямо из детства было брошено в испуганную, жестокую зрелость.

Тогда он обнял её с широкой снисходительной нежностью, наклонился и поцеловал в губы.

Её радостный вскрик до сих пор звучал у него в ушах.

Он чувствовал, как она льнёт к нему, словно кошка.

Бедная голодная девочка!

Мартин продолжал смотреть на видение давно прошедшей ночи.

Плоть его снова покрылась мурашками — точно так же, как в ту ночь, когда она прижалась к нему.

А сердце было согрето жалостью.

Картина была серой — густо-серой.

Морось сыпалась на булыжники.

И вдруг на стене вспыхнуло сияние.

Оно поднялось сквозь прежнее видение и вытеснило его.

Перед ним возникло её бледное лицо под венцом золотых волос — далёкое и недоступное, как звезда.

Он взял со стула книги Браунинга и Суинберна и поцеловал их.

«Всё-таки она сказала мне приходить ещё», — подумал он.

Он ещё раз посмотрел на себя в зеркало и с величайшей серьёзностью произнёс:

— Мартин Иден, завтра с утра первым делом отправляйся в бесплатную библиотеку и почитай об этикете. Понял?

Он погасил газ.

Пружины под его телом жалобно закрипели.

— Но ругаться тебе тоже придётся бросить, Мартин, старина. Придётся научиться держать язык за зубами, — сказал он вслух.

Потом он задремал и погрузился в сны, безумие и дерзость которых могли соперничать лишь с грёзами тех, кто ел опиумный мак.

ГЛАВА V

На следующее утро он проснулся после розовых грёз — в душной атмосфере, пропитанной запахом мыльной пены и грязного белья, звенящей и грохочущей нестройным шумом измученной жизни.

Выйдя из своей комнаты, он услышал плеск воды, резкий возглас и звонкий шлепок — сестра выместила раздражение на одном из многочисленных отпрысков.

Детский вопль пронзил его, как нож.

Мартин чувствовал, что всё здесь, даже самый воздух, которым он дышал, отвратительно и убого.

Как непохоже, подумал он, на атмосферу красоты и покоя в доме, где жила Руфь.

Там всё было духовным.

Здесь всё было материальным — и до пошлости материальным.

— Иди сюда, Альфред, — позвал он плачущего ребёнка, одновременно запустив руку в карман брюк. Деньги он держал там вперемешку, без кошелька, — так же свободно и беспорядочно, как вообще жил.

Он сунул мальчику четвертак, взял его на руки и немного подержал, успокаивая всхлипы.

— А теперь беги, купи себе конфет. И не забудь угостить братьев и сестёр. Только возьми такие, которые дольше всего сосать.

Сестра подняла от корыта покрасневшееся лицо и посмотрела на него.

— Пяти центов хватило бы, — сказала она. — Ну, прямо как ты: понятия не имеешь, сколько стоят деньги. Ребёнок потом объестся до болезни.

— Ничего, сестрёнка, — весело ответил он. — Мои деньги сами о себе позаботятся. Если бы ты не была так занята, я бы поцеловал тебя с добрым утром.

Ему хотелось проявить нежность к этой сестре — доброй женщине, которая, как он знал, по-своему его любила.

Но почему-то с годами она всё меньше оставалась самой собой и всё больше становилась ему чужой.

Он решил, что её изменили тяжёлая работа, множество детей и бесконечные придирки мужа.

И ему вдруг пришла в голову странная мысль: казалось, её натура постепенно пропитывалась духом залежалых овощей, вонючей мыльной пены и жирных десятицентовиков, пятицентовиков и четвертаков, которые она принимала через прилавок лавки.

— Иди позавтракай, — грубовато сказала она, хотя втайне была рада его ласке.

Из всех братьев, разбросанных по свету, он всегда был её любимцем.

— Нет, я всё-таки тебя поцелую, — внезапно сказала она, почувствовав внезапный прилив нежности.

Большим и указательным пальцами она сначала смахнула капли мыльной пены с одной руки, затем с другой.

Мартин обнял её за широкую талию и поцеловал мокрые, разгорячённые губы.

Глаза её наполнились слезами — не столько от силы чувства, сколько от слабости, порождённой хроническим переутомлением.

Она оттолкнула его, но прежде он успел заметить влагу в её глазах.

— Завтрак найдёшь в духовке, — поспешно сказала она. — Джим уже должен вставать. Мне пришлось подняться рано из-за стирки. Ну, иди, собирайся и уходи из дома пораньше. Сегодня будет тяжёлый день: Том ушёл, а возить телегу теперь некому, кроме Бернарда.

Мартин вошёл в кухню с тяжёлым сердцем.

Образ её красного лица и небрежной, запущенной фигуры словно въедался ему в сознание.

Она могла бы любить его, если бы у неё только оставалось хоть немного времени, решил он.

Но она работала до изнеможения.

Бернард Хиггинботам был настоящим зверем, раз заставлял её так надрываться.

И всё же Мартин не мог отделаться от мысли, что в том поцелуе не было ничего прекрасного.

Это был необычный поцелуй, правда.

Годами она целовала его лишь тогда, когда он возвращался из плавания или снова уходил в море.

Но этот поцелуй пах мыльной пеной, и губы у неё, заметил он, были дряблыми.

В них не было той быстрой, энергичной силы, которая должна сопутствовать поцелую.

Это был поцелуй измученной женщины, настолько давно уставшей, что она забыла, как нужно целоваться.

Он вспомнил её девушкой, ещё до замужества, когда она могла плясать лучше всех всю ночь напролёт после тяжёлого рабочего дня в прачечной, а затем спокойно отправиться ещё на один день тяжёлой работы.

И тогда он подумал о Руфи — о прохладной сладости, которая, должно быть, жила в её губах, как жила во всём, что её окружало.

Её поцелуй был бы таким же, как её рукопожатие или взгляд — твёрдым и открытым.

В воображении он осмелился представить её губы на своих.

И настолько живо это представил, что от одной мысли у него закружилась голова и ему показалось, будто он проваливается сквозь облака розовых лепестков, наполняющих его сознание своим благоуханием.

В кухне он застал Джима, другого жильца, который очень медленно ел кашу и смотрел куда-то вдаль большими, мутными глазами.

Джим был подмастерьем у водопроводчика. Слабый подбородок, гедонистический нрав и какая-то нервная туповатость обещали ему весьма скромное будущее в борьбе за хлеб насущный.

— Почему не ешь? — спросил он, когда Мартин уныло принялся за холодную, недоваренную овсяную кашу. — Ты опять вчера пил?

Мартин покачал головой.

Вся эта жалкая обстановка давила на него.

Руфь Морз казалась теперь ещё более далёкой.

— А я пил, — продолжал Джим с хвастливым нервным смешком. — Напился по самое горло. Ох, девка была — загляденье. Билли меня домой приволок.

Мартин кивнул, показывая, что слушает, — от природы он всегда был внимателен к человеку, который с ним разговаривал, — и налил себе чашку чуть тёплого кофе.

— На танцы в клуб «Лотос» сегодня идёшь? — спросил Джим. — Пиво будет, а если эта темескальская компания заявится, наверняка драка начнётся. Да мне плевать. Всё равно свою девчонку поведу. Чёрт, какой вкус во рту!

Он скривился и попытался запить неприятный вкус кофе.

— Джулию знаешь?

Мартин покачал головой.

— Это моя девушка, — пояснил Джим. — Просто красавица. Я бы вас познакомил, да ты её уведёшь. Не понимаю я, честно, что девушки в тебе находят, но то, как ты отбиваешь их у парней, просто тошно смотреть.

— Я у тебя никого не отбивал, — без интереса ответил Мартин.

Завтрак всё равно надо было как-нибудь закончить.

— Ещё как отбивал, — горячо возразил тот. — Мэгги вот.

— Я с ней никогда ничего не имел. Только один раз потанцевал.

— Вот именно! — воскликнул Джим. — Потанцевал с ней, посмотрел на неё — и всё.

Конечно, ты ничего такого не имел в виду, но для меня всё было кончено. Больше на меня смотреть не хотела. Всё про тебя спрашивала. Захотел бы — она бы с тобой быстро свидания назначала.

— А я не хотел.

— Да это и не требовалось. Меня сразу отставили в сторону.

Джим посмотрел на него с восхищением.

— Как ты это делаешь, Март?

— Просто не обращаю на них внимания, — ответил тот.

— Ты хочешь сказать, делаешь вид, будто тебе на них наплевать?

Джим жадно ждал ответа.

Мартин немного подумал.

— Может, и это помогает. Но со мной, наверное, иначе. Мне никогда особенно не было до них дела. Если умеешь изобразить такое отношение, скорее всего, сработает.

— Тебе бы вчера вечером надо было быть в амбаре Райли, — неожиданно объявил Джим. — Многие ребята надели перчатки. Там один парень из Западного Окленда был — просто зверь. Его звали «Крысой». Скользкий, как шёлк. Никто его пальцем тронуть не мог. Все жалели, что тебя не было. А ты где был?

— В Окленде.

— В кино?

Мартин отодвинул тарелку и встал.

— На танцы сегодня придёшь? — крикнул ему вслед Джим.

— Нет, думаю, не приду.

Он спустился вниз и вышел на улицу, жадно вдыхая воздух.

Здесь ему было нечем дышать, а болтовня подмастерья приводила его в бешенство.

Иногда ему стоило огромного труда удержаться от того, чтобы не дотянуться через стол и не окунуть Джиму лицо в тарелку с кашей.

Чем больше тот болтал, тем недостижимее представлялась ему Руфь.

Как мог он, окружённый такими людьми, когда-нибудь стать достойным её?

Мартин был потрясён стоявшей перед ним задачей, подавлен грузом своего положения рабочего человека.

Всё вокруг тянуло его вниз — сестра, её дом и семья, Джим-подмастерье, все знакомые, все привычные связи, которыми была опутана его жизнь.

Само существование стало ему безвкусно.

До сих пор он принимал жизнь такой, какой знал её вместе с окружающими, — как нечто хорошее.

Он никогда не ставил её под вопрос — разве что когда читал книги.

Но тогда это были всего лишь книги, сказки о прекрасном, недостижимом мире.

А теперь этот мир предстал перед ним возможным и реальным, и в самом его центре стояла Руфь — словно цветок.

И с этого момента ему предстояло познать горечь желаний, острых, как боль, и безнадёжность, мучительную именно потому, что она питалась надеждой.

Он долго выбирал между бесплатной библиотекой Беркли и бесплатной библиотекой Окленда и остановился на последней, потому что Руфь жила в Окленде.

Кто знает?

Библиотека была весьма вероятным местом для встречи с ней.

Он не знал, как пользоваться библиотекой, и бродил среди бесконечных рядов художественной литературы, пока девушка с тонкими, изящными, почти французскими чертами, которая, казалось, заведовала всем отделом, не сказала ему, что справочный отдел находится наверху.

Он не догадался спросить библиотекаря за стойкой и отправился сначала в философский отдел.

Он слышал о книжной философии, но не представлял, что о ней написано столько.

Высокие, массивные полки, заставленные тяжёлыми томами, одновременно подавляли его и возбуждали в нём желание действовать.

Вот поприще для его сильного ума.

В математическом отделе он обнаружил книги по тригонометрии, перелистал их и установился на бессмысленные для него формулы и цифры.

Английский он читать умел, но здесь перед ним был какой-то чужой язык.

Норман и Артур знали этот язык.

Он слышал, как они на нём разговаривали.

И ведь они были её братьями.

Мартин покинул отдел в отчаянии.

Со всех сторон книги словно надвигались на него и давили.

Он никогда не подозревал, насколько огромен запас человеческого знания.

Ему стало страшно.

Как его разум когда-нибудь сумеет овладеть всем этим?

Позднее он вспомнил, что другие люди — множество людей — уже овладели всем этим.

И тогда он страстно, сквозь зубы, выругался, поклявшись себе, что его мозг способен на то же, на что оказались способны их умы.

Так он и бродил дальше, переходя от уныния к восторгу, глядя на полки, набитые мудростью.

В одном из отделов, где книги были собраны без особого порядка, он наткнулся на «Краткий курс Норри».

Он благоговейно раскрыл книгу и принялся листать её страницы.

В каком-то смысле книга говорила на родном ему языке.

И он, и она были связаны с морем.

Затем он нашёл «Боудича», книги Лекки и Маршалла.

Вот оно — то, что ему нужно.

Он сам выучит навигацию.

Бросит пить, будет продвигаться вперёд и станет капитаном.

В этот миг Руфь показалась ему совсем близкой.

Став капитаном, он сможет жениться на ней — если она его примет.

А если не примет — что ж, он всё равно будет жить достойно среди людей ради Неё.

И пить всё равно бросит.

Но тут он вспомнил о страховщиках и судовладельцах — двух хозяевах, которым должен служить капитан, причём интересы этих двух сторон прямо противоположны. Любой из них мог сломить его и рано или поздно сломал бы.

Мартин оглядел комнату и опустил веки, словно стараясь не видеть возникшее перед ним видение десяти тысяч книг.

Нет.

Больше море ему не нужно.

В этом огромном богатстве книг заключалась сила, и если он хотел совершить что-то великое, то должен был делать это на суше.

К тому же капитанам не позволялось брать жён с собой в море.

Наступил полдень, потом день стал клониться к вечеру.

Он забыл поесть и продолжал искать книги об этикете, потому что помимо вопроса о будущем его мучила простая и совершенно конкретная проблема:

Если встретишь молодую женщину, и она пригласит тебя к себе, когда можно прийти?

Именно так он формулировал вопрос для самого себя.

Но, найдя нужную полку, ответа на него он не обнаружил.

Мартин ошеломил необъятный мир этикета.

Он заблудился в лабиринте правил — когда и как обмениваться визитными карточками, как держаться и что говорить в приличном обществе.

Он прекратил поиски.

Желаемого ответа не нашёл, зато понял другое: человеку пришлось бы посвятить этому всю жизнь; прежде понадобились бы долгие годы подготовки, чтобы научиться быть вежливым.

— Нашли то, что искали? — спросил библиотекарь за стойкой, когда Мартин уже собирался уходить.

— Да, сэр, — ответил он. — Хорошая у вас библиотека.

Библиотекарь кивнул.

— Будем рады видеть вас здесь почаще. Вы моряк?

— Да, сэр. Я ещё приду.

«А откуда он это узнал?» — спросил себя Мартин, спускаясь по лестнице.

Первые несколько кварталов он шёл очень прямо, неестественно вытянувшись и неловко ступая.

Но вскоре он погрузился в свои мысли, и вместе с тем к нему вернулась прежняя плавная моряцкая походка.

ГЛАВА VI

Мартина мучило страшное беспокойство, похожее на голод.

Он изнывал от жажды увидеть девушку, чьи тонкие руки властно схватили его жизнь и сжали её хваткой великана.

Он никак не мог заставить себя прийти к ней.

Он боялся прийти слишком рано и тем самым совершить страшное нарушение этого священного закона, именуемого этикетом.

Он проводил долгие часы в библиотеках Окленда и Беркли и оформил читательские карточки для себя, сестёр Гертруды и Мариан и Джима — согласие последнего пришлось уговорить несколькими кружками пива.

Получив четыре карточки, позволявшие брать книги, он допоздна жёг газ в бывшей комнате прислуги, за что Хиггинботам взимал с него пятьдесят центов в неделю.

Множество прочитанных книг лишь усиливало его беспокойство.

Каждая страница каждой книги была окном в царство знания.

Его голод питался прочитанным и становился всё сильнее.

Кроме того, он не знал, с чего начать, и постоянно страдал от отсутствия подготовки.

Он не знал даже самых простых вещей, которые, как ему казалось, должен знать всякий образованный человек.

То же происходило с поэзией, которую он читал и которая приводила его в восторг, почти сводивший его с ума.

Он прочёл у Суинберна гораздо больше, чем было в томе, который одолжила ему Руфь, и «Долорес» понял до конца.

Но Руфь наверняка её не понимала, решил он.

Как могла она понимать такое, ведя ту утончённую жизнь, к которой привыкла?

Затем ему случайно попались стихи Киплинга, и его захватили их ритм, размах и то очарование, которым поэт наделял самые знакомые вещи.

Мартина поразило, насколько глубоко этот человек чувствовал жизнь и как метко про-никал в психологию.

«Психология» была новым словом в его словаре.

Он купил словарь — покупка эта уменьшила его запас денег и вновь напомнила ему, что рано или поздно придётся вернуться в море.

Кроме того, она привела Хиггинботама в ярость: тот предпочёл бы, чтобы эти деньги превратились в плату за жильё.

Днём Мартин не смел приближаться к району, где жила Руфь.

Но с наступлением темноты он крался вокруг дома Морз, словно вор, тайком бросая взгляды на окна и любя даже стены, укрывавшие её.

Несколько раз он едва не попадался её братьям.

Однажды он проследил за мистером Морзом до центра города и изучал его лицо в свете уличных фонарей, всё время желая, чтобы вдруг возникла какая-нибудь смертельная опасность, чтобы он мог броситься на помощь и спасти отца Руфи.

В другую ночь его бдение было вознаграждено: он увидел Руфь в окне второго этажа.

Он видел только её голову и плечи, а руки были подняты — она поправляла волосы перед зеркалом.

Это длилось всего мгновение, но для него мгновение было долгим.

Кровь его превратилась в вино и запела в жилах.

Затем она опустила штору.

Но это было окно её комнаты — он уже выяснил это.

И после того он часто приходил туда, прячась под тёмным деревом на противоположной стороне улицы и выкуривая бесчисленные сигареты.

Однажды днём он увидел, как её мать выходит из банка, и получил ещё одно доказательство огромного расстояния, отделявшего Руфь от него.

Она принадлежала к людям, которые имели дело с банками.

Мартин за всю жизнь ни разу не был внутри банка и считал, что такие учреждения посещают лишь очень богатые и очень могущественные люди.

В одном отношении он пережил настоящую нравственную революцию.

Её чистота и непорочность воздействовали на него, и в нём пробудилась мучительная потребность самому стать чистым.

Он должен был стать таким, если когда-нибудь хотел заслужить право дышать с ней одним воздухом.

Он начал чистить зубы.

Стал оттирать руки кухонной щёткой до тех пор, пока однажды не увидел в витрине аптекарского магазина щётку для ногтей и не понял, для чего она нужна.

Покупая её, он заметил, что продавец взглянул на его ногти и предложил приобрести пилочку.

Так у него появился ещё один предмет туалета.

В библиотеке ему попала книга об уходе за телом, и он немедленно приобрёл привычку каждое утро принимать холодную ванну.

Это чрезвычайно удивило Джима и совершенно озадачило Хиггинботама, который не разделял подобных изысканных причуд и всерьёз размышлял, не брать ли с Мартина дополнительную плату за воду.

Следующим шагом стали выглаженные брюки.

Теперь, когда Мартин начал обращать внимание на подобные вещи, он быстро заметил разницу между мешковатыми коленями брюк, которые носили рабочие, и прямой линией от колена до ступни у мужчин более высокого положения.

Он узнал и причину этого.

Тогда он вторгся на сестрину кухню в поисках утюга и гладильной доски.

Поначалу не обошлось без неудач: он безнадёжно испортил одну пару, прожёт её и был вынужден купить другую.

Эта трата снова приблизила день, когда ему придётся выйти в море.

Но преобразование шло глубже, чем простая перемена внешности.

Курить он продолжал, но больше не пил.

До сих пор ему казалось естественным, что мужчина должен пить, и он гордился своей крепкой головой, позволявшей ему перепить почти любого.

Когда он встречал бывшего корабельного товарища — а в Сан-Франциско таких встречалось немало, — всё происходило по-старому: он угощал их, они угощали его.

Но теперь себе он заказывал корневое пиво или имбирный эль и добродушно терпел их насмешки.

А когда товарищи постепенно пьянели и становились сентиментальными, он наблюдал за ними, видя, как внутри каждого пробуждается зверь, и благодарил Бога за то, что сам уже не такой.

Им нужно было забыть о своих ограничениях.

Пьяными их мутные, оступевшие души словно становились богами, и каждый царил в своём собственном небе опьянённых желаний.

У Мартина потребность в крепком алкоголе исчезла.

Теперь он пьянел иным, более глубоким образом — Руфью, которая зажгла в нём любовь и дала мельком увидеть высшую, вечную жизнь; книгами, разбудившими в его мозгу бесчис-

ленных червей желаний; наконец, ощущением личной чистоты, которого он постепенно достигал и которое дарило ему ещё более великолепное здоровье, чем прежде, заставляя всё тело петь от физического благополучия.

Однажды вечером он пошёл в театр — просто наугад, в надежде увидеть её.

И увидел.

Со второго яруса он заметил, как она спускается по проходу вместе с Артуром и незнакомым молодым человеком с густой копной волос, похожей на футбольный мяч, и в очках.

Увиденное тотчас пробудило в нём тревогу и ревность.

Он смотрел, как она занимает место в партере, и в тот вечер почти ничего больше не видел — лишь стройные белые плечи и массу бледно-золотистых волос, едва различимых издали.

Но другие смотрели.

Время от времени, бросая взгляд на зрителей вокруг, Мартин замечал двух молодых девушек, сидевших в ряду впереди, примерно через десяток мест.

Они оглядывались на него и улыбались дерзкими глазами.

Всегда прежде он относился к подобным вещам легко.

Не в его характере было отталкивать женщину.

В прежние времена он улыбнулся бы в ответ, а затем пошёл бы дальше и сам стал бы поощрять эти улыбки.

Но теперь всё было иначе.

Он улыбнулся в ответ, потом отвернулся и больше намеренно на них не смотрел.

Однако несколько раз, забывая о существовании девушек, он ловил их улыбки.

Нельзя было за один день изменить собственную натуру, да и нарушить врождённую доброжелательность он не мог.

Поэтому в такие мгновения он отвечал им улыбкой — тёплой, простой человеческой улыбкой.

Для него это не было чем-то новым.

Он знал: они протягивают к нему свои женские руки.

Но теперь всё было иначе.

Внизу, в партере, находилась единственная женщина на всём свете — настолько безмерно отличная от этих двух девушек его круга, что он мог чувствовать к ним лишь жалость и печаль.

Ему хотелось, чтобы они хотя бы отчасти обладали её добротой и величием.

И ни за что на свете он не смог бы причинить им боль только потому, что они тянулись к нему.

Он не льстился этим.

Напротив, в нём даже шевельнулось лёгкое чувство стыда за своё низкое положение, из-за которого они осмеливались вести себя с ним подобным образом.

Он знал: будь он человеком круга Руфи, эти девушки никогда не сделали бы ему подобных предложений.

И с каждым их взглядом он чувствовал, как собственный класс хватает его за пальцы и тянет вниз.

Перед последним актом он покинул своё место, намереваясь увидеть Её, когда она будет выходить.

На тротуаре перед театром всегда стояло множество мужчин, и он мог надвинуть кепку на глаза и спрятаться за чьим-нибудь плечом, чтобы она его не заметила.

Он вышел из театра одним из первых, но едва занял место у края тротуара, как появились две девушки.

Он знал, что они искали его.

И на мгновение ему захотелось проклясть в себе то, что так притягивало женщин.

По тому, как непринуждённо они приблизились к краю тротуара, он понял, что они его заметили.

Они замедлили шаг и, приблизившись, растворились в густой толпе.

Одна из них задела его плечом, будто только сейчас заметила.

Это была стройная темноволосая девушка с чёрными, вызывающими глазами.

Но глаза её улыбались ему, и он улыбнулся в ответ.

— Привет, — сказал он.

Он произнёс это машинально. Столько раз прежде он говорил то же самое при случайных знакомствах.

Кроме того, он просто не мог поступить иначе. В нём жила широкая терпимость и доброжелательность к людям.

Черноглазая девушка улыбнулась — одновременно и с удовольствием, и в знак приветствия — и, казалось, собиралась остановиться.

Её спутница, взявшая её под руку, захихикала и тоже замедлила шаг.

Мартин быстро сообразил.

Нельзя было допустить, чтобы Она вышла из театра и увидела его здесь, разговаривающим с ними.

Совершенно естественно, словно так и полагалось, он пристроился рядом с черноглазой девушкой и пошёл вместе с ней.

Он не чувствовал неловкости, язык не немел.

Здесь он был в своей стихии и держался с достоинством в той острой, колкой перебранке, изобилующей сленгом, которая всегда служила прелюдией к знакомству в подобных стремительных историях.

На углу, где главный поток людей продолжал двигаться прямо, он начал сворачивать в боковую улицу.

Но черноглазая девушка схватила его за руку, пошла следом и потянула за собой подругу.

— Эй, погоди, Билл! Ты чего так торопишься? Неужели думаешь вот так сразу от нас отделаться?

Он со смехом остановился и повернулся к ним.

За их плечами, под уличными фонарями, двигалась толпа.

Здесь было темнее, и, оставаясь в тени, он мог незаметно наблюдать за Ею, когда она пройдёт мимо.

Она непременно должна была пройти здесь — эта дорога вела домой.

— Как её зовут? — спросил он у хихикающей девушки, кивнув на черноглазую.

— Сам спроси, — ответила та, давась смехом.

— Ну, как тебя зовут? — потребовал он, прямо повернувшись к девушке.

— А ты мне своего ещё не сказал, — парировала она.

— Ты не спрашивала, — улыбнулся он. — К тому же ты с первого взгляда угадала. Билл — так Билл.

— Ой, да ну тебя.

Она посмотрела ему прямо в глаза.

Её взгляд был страстным, вызывающим и приглашающим.

— Ну правда, как тебя зовут?

Она снова посмотрела на него.

Все века женской природы, начиная с тех времён, когда возник пол, говорили в её глазах.

Мартин без особого интереса окинул её взглядом и теперь, осмелев, знал, что если станет наступать, она начнёт отступать — кокетливо и нежно, — но всегда готовая изменить правила игры, если он вдруг струсит.

И он тоже был человеком.

Он ощущал притягательную силу её близости, а его самолюбие не могло не оценить её благосклонности.

О, он всё это знал.

Он хорошо знал их — от начала до конца.

Хорошие — по меркам их собственного круга.

Трудолюбивые, за жалкие гроши.

Гордые тем, что не продают себя ради более лёгкой жизни.

Нервно жаждущие хоть маленькой доли счастья в пустыне существования.

Перед ними лежало будущее — игра, где на кону было либо уродство нескончаемого труда, либо чёрная яма ещё более страшной нищеты; путь к ней был короче, хотя и лучше оплачивался.

— Билл, — ответил он, кивнув. — Конечно, Пит, Билл и никто другой.

— Не врёшь?

— Это вовсе не Билл, — вмешалась другая.

— Откуда ты знаешь? — потребовал он. — Ты меня прежде в глаза не видела.

— Не обязательно видеть, чтобы понять, что ты врёшь.

— Ну, Билл, как тебя на самом деле зовут? — спросила первая.

— Пусть будет Билл, — признался он.

Она протянула руку, схватила его за рукав и шутливо потряхнула.

— Я знала, что ты врёшь, но всё равно ты мне нравишься.

Он поймал протянутую руку и почувствовал на ладони знакомые отметины и огрубевшую кожу.

— Когда ты ушла с консервной фабрики? — спросил он.

— Откуда ты знаешь?

И обе девушки расхохотались:

— Ой, надо же, какой умник! Прямо мысли читает!

А пока он обменивался с ними бессмысленностями, рождавшимися в таких же бессмысленных умах, перед его внутренним взором вставали библиотечные полки, полные книг и мудрости веков.

Он горько усмехнулся над несоответствием, и его начали одолевать сомнения.

Но между внутренним видением и внешней любезностью он всё же находил время следить за потоком людей, выходивших из театра.

И вдруг увидел Её.

Она шла под светом фонарей между братом и незнакомым молодым человеком в очках.

Сердце его словно остановилось.

Он так долго ждал этого мгновения.

Он успел заметить лёгкую воздушную накидку, прикрывавшую её царственную голову, изящные линии фигуры под одеждой, грациозность походки и руки, приподнимавшей юбку.

И вот она исчезла.

А Мартин остался смотреть на двух девушек с консервной фабрики — на их жалкие, почти трагические попытки выглядеть чистыми и опрятными, дешёвую ткань, дешёвые ленты, дешёвые кольца на пальцах.

Он почувствовал, как его дёрнули за руку, и услышал:

— Проснись, Билл! Что с тобой?

— Что ты сказала? — спросил он.

— Да ничего, — ответила темноволосая, вскинув голову. — Просто заметила...

— Что?

— Ну, я шептала, что было бы неплохо, если бы ты нашёл какого-нибудь приличного парня для неё, — она указала на подругу, — а потом мы могли бы пойти куда-нибудь выпить содовой с мороженым, кофе или ещё чего-нибудь.

Мартина охватило внезапное духовное отвращение.

Переход от Руфи к этому оказался слишком резким.

И рядом с этими дерзкими, вызывающими глазами в его памяти возникли ясные, светящиеся глаза Руфи — словно глаза святой, смотрящие на него из неисчерпаемой глубины чистоты.

И вдруг почувствовал, как внутри него пробуждается сила.

Он был выше этого.

Жизнь значила для него больше, чем для этих двух девушек, чьи мысли не простирались дальше мороженого и какого-нибудь подходящего кавалера.

Он вспомнил, что всегда вёл в своих мыслях тайную жизнь.

Он пытался делиться этими мыслями, но никогда не находил женщины, способной его понять.

Да и мужчины такой не находилось.

Иногда он пытался, но лишь ставил собеседников в тупик.

И если его мысли превосходили их, рассуждал он теперь, значит, и сам он должен быть выше их.

Он почувствовал, как сила поднимается в нём, и сжал кулаки.

Если жизнь значила для него больше, то он имел право требовать от жизни большего.

Но требовать этого от такого общества он не мог.

Эти дерзкие чёрные глаза ничего ему не предлагали.

Он знал, что скрывается за этими глазами: мысли о мороженом и ещё кое о чём.

Но те глаза святой рядом с ними...

В них было всё, что он уже знал, и гораздо больше того, что он ещё мог представить.

Они предлагали книги и живопись, красоту и покой, всю тонкую изысканность высшего существования.

За этими чёрными глазами он мог прочесть каждую мысль. Там всё было устроено как часовой механизм: каждое колёсико вращалось у него перед глазами.

На кону у этих глаз было немного: низкое удовольствие, тесное, как могила, быстро приедающаяся, а в конце всё равно — могила.

А ставка этих святых глаз была тайной, чудом, невысказанным восторгом и вечной жизнью.

Он мельком увидел в них её душу.

И — мельком — собственную.

— Есть только одна загвоздка, — произнёс он вслух. — У меня уже есть свидание.

Глаза девушки вспыхнули разочарованием.

— Наверное, будешь сидеть у постели больного приятеля? — язвительно спросила она.

— Нет. Настоящее свидание, с девушкой...

Он замялся.

— Ты меня не разыгрываешь? — серьёзно спросила она.

Он посмотрел ей прямо в глаза.

— Чистая правда. Но почему бы нам не встретиться в другой раз? Ты ведь даже имени своего мне не сказала. А где ты живёшь?

— Лиззи, — ответила она, смягчившись. Её рука легла ему на руку, а тело прижалось к нему. — Лиззи Коннолли. Живу на Пятой и Маркет-стрит.

Он ещё несколько минут продолжал разговаривать с ней, прежде чем пожелать доброй ночи.

Но домой сразу не пошёл.

Под деревом, откуда он обычно следил за окнами, Мартин поднял взгляд к одному из них и прошептал:

— То свидание было с тобой, Руфь. Я берег его для тебя.

ГЛАВА VII

Прошла неделя напряжённого чтения с того вечера, когда он впервые встретил Руфь Морс, а он всё ещё не осмеливался позвонить ей. Снова и снова он набирался храбрости, чтобы сделать это, но под натиском одолевавших его сомнений решимость всякий раз угасала. Он не знал, когда будет уместно позвонить, и некому было ему об этом рассказать; он боялся совершить непоправимую ошибку. Освободившись от своих прежних товарищей и прежнего образа жизни и не имея новых знакомых, он ничего больше не мог делать, кроме как читать, и долгие часы, проводимые за книгами, погубили бы с десяток пар обычных глаз. Но глаза у него были крепкие, а за ними стояло тело необыкновенной силы. К тому же его разум лежал невспаханным полем. В мире отвлечённых идей он всю жизнь оставался нетронутой целиной — и теперь эта почва была готова принять семена. Учёба никогда не утомляла его; напротив, он вцеплялся в знания, заключённые в книгах, острыми зубами и не желал их отпускать.

К концу недели ему казалось, будто он прожил целые века: настолько далеко остались позади его прежняя жизнь и прежний взгляд на мир. Но его озадачивала неподготовленность. Он пытался читать книги, требовавшие многолетней предварительной подготовки. В один день он читал древний философский труд, а на следующий — ультрасовременную книгу, и голова его шла кругом от столкновения и противоречия идей. То же происходило и с экономистами. На одной полке библиотеки он обнаружил Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля, но мудрёные рассуждения одного ничем не помогали ему понять, что идеи другого уже устарели. Он был совершенно сбит с толку, но жажда знания не ослабевала.

За один день он заинтересовался экономикой, промышленностью и политикой. Однажды, проходя через парк у городской ратуши, он заметил группу мужчин; в центре её собралось с полдюжины человек с покрасневшими лицами, горячо споривших на повышенных тонах, горячо обсуждавших что-то между собой. Мартин присоединился к слушателям и услышал из уст народных философов совершенно новый для него, чужой язык. Один был бродягой, другой — агитатором рабочего движения, третий — студентом юридического факультета, а остальные были говорливыми рабочими. Впервые в жизни он услышал о социализме, анархизме и едином налоге и узнал, что существуют враждующие между собой социальные философии. Он услышал сотни технических терминов, прежде ему неизвестных, — слов из таких областей мысли, которых его скудное чтение никогда не касалось. Поэтому он не мог следить за ходом спора и лишь догадывался и предполагал, какие идеи скрываются за этими странными выражениями.

Там был также черноглазый официант ресторана, исповедовавший теософию; профсоюзный пекарь-агностик; старик, ставивший всех в тупик своей странной философией: *то, что есть, — правильно*; и ещё один старик, бесконечно рассуждавший о космосе, отце-атоме и матери-атоме.

Через несколько часов Мартин ушёл с головой, совершенно переполненной и спутанной, и поспешил в библиотеку, чтобы отыскать в словаре определения дюжины незнакомых слов. А когда он вышел из библиотеки, под мышкой у него было четыре книги: «Тайная доктрина» мадам Блаватской, «Прогресс и бедность», «Квинтэссенция социализма» и «Война религии и науки».

К несчастью, начал он с «Тайной доктрины». Каждая строка ошетикивалась многосложными словами, которых он не понимал. Он сидел на кровати, а словарь был у него под рукой чаще, чем сама книга. Он искал в нём столько новых слов, что, когда они снова встречались в тексте, он уже забывал их значение и вынужден был искать их заново. Тогда он придумал записывать определения в тетрадь и заполнил ими страницу за страницей. И всё равно ничего не мог понять.

Он читал до трёх часов утра; мозг его кипел, но ни одной существенной мысли из текста он так и не уловил. Он поднял глаза — и ему показалось, будто комната поднимается, кренится и проваливается, словно корабль на море. Тогда он швырнул «Тайную доктрину» через комнату вместе с множеством проклятий, погасил газ и улёгся спать.

С тремя другими книгами ему тоже не особенно повезло. Дело было не в слабости его ума и не в неспособности мыслить; он мог бы постичь эти мысли, если бы не отсутствие навыка мышления и тех мыслительных инструментов, с помощью которых оно осуществляется. Он сам догадывался об этом и некоторое время даже всерьёз подумывал о том, чтобы читать один только словарь, пока не выучит каждое слово в нём.

Однако поэзия была его утешением, и он читал её много, находя величайшую радость в более простых поэтах, которых было легче понимать. Он любил красоту — и здесь находил красоту. Поэзия, как и музыка, глубоко волновала его, и, сам того не понимая, он готовил свой разум к более тяжёлой работе, которая ждала впереди. Страницы его сознания были чисты, и многое из прочитанного и понравившегося ему без усилия, строфа за строфой, отпечатывалось на них. Вскоре он научился получать огромное наслаждение, нараспев произнося — вслух или про себя — музыку и красоту напечатанных слов, которые читал.

Затем он случайно обнаружил стоявшие рядом на библиотечной полке «Классические мифы» Гейли и «Эпоху басен» Булфинча. Это стало для него настоящим откровением, лучом света во тьме его невежества, и он принялся читать поэзию ещё жаднее.

Библиотекарь уже так часто видел Мартина, что стал относиться к нему весьма дружелюбно и всякий раз встречал его улыбкой и кивком. Именно поэтому Мартин решился на смелый поступок. Вынимая у стойки несколько книг, пока библиотекарь ставил на карточках штампы, Мартин выпалил:

— Послушайте, я хотел вас кое о чём спросить.

Библиотекарь улыбнулся и внимательно посмотрел на него.

— Вот когда знакомишься с молодой девушкой, а она просит тебя к ней зайти, — как скоро после этого можно приходить?

Мартин почувствовал, как от пота рубашка прилипает к плечам: такого усилия потребовал от него этот вопрос.

— Я бы сказал — когда угодно, — ответил библиотекарь.

— Да, но тут другое, — возразил Мартин. — Она... я... понимаете, дело вот в чём: может, её не будет дома. Она учится в университете.

— Тогда приходите ещё раз.

— Я не то имел в виду, — признался Мартин, запинаясь, и решил полностью отдаться на милость собеседника. — Я человек довольно грубый, и в обществе мне никогда не приходилось бывать. Эта девушка — всё то, чем я не являюсь, а я — ничто из того, чем является она. Вы не думаете, что я дурака валяю? — внезапно спросил он.

— Нет, нет, вовсе нет, уверяю вас, — поспешил возразить библиотекарь. — Ваша просьба, строго говоря, не относится к компетенции справочного отдела, но я буду только рад вам помочь.

Мартин с восхищением посмотрел на него.

— Если бы я мог так всё складно говорить, я бы был в порядке, — сказал он.

— Прошу прощения?

— Я имею в виду: если бы я мог так легко разговаривать, вежливо, и всё такое.

— А, — с пониманием протянул библиотекарь.

— Когда лучше приходить? Днём? Только не слишком близко к обеду? Или вечером? Или в воскресенье?

— Я вам скажу, — оживился библиотекарь. — Позвоните ей по телефону и спросите.

— Так и сделаю, — сказал он, подхватывая книги и направляясь к выходу.

Но затем обернулся и спросил:

— Когда разговариваешь с молодой девушкой — скажем, с мисс Лиззи Смит, — надо говорить «мисс Лиззи» или «мисс Смит»?

— Говорите «мисс Смит», — авторитетно заявил библиотекарь. — Всегда говорите «мисс Смит», пока не узнаете её лучше.

Так Мартин Иден решил свою проблему.

— Приходите когда угодно; весь день я буду дома, — ответила Руфь по телефону на его заикающийся вопрос о том, когда он может вернуть взятые у неё книги.

Она сама встретила его у двери, и её женские глаза мгновенно заметили и помятые брюки, и едва уловимую, но несомненную перемену в нём к лучшему. Её поразило также его лицо. Здоровье в нём было почти сокрушительным: казалось, оно исходило от него и накатывало на неё волнами силы. Она снова ощутила желание наклониться к нему, чтобы согреться, и снова удивилась тому воздействию, которое оказывало на неё его присутствие.

Он же в свою очередь снова испытал головокружительное счастье, когда почувствовал прикосновение её руки в приветствии. Разница между ними заключалась в том, что она оставалась спокойной и уверенной в себе, тогда как лицо его покраснело до самых корней волос. Он со своей прежней неловкостью поплёлся за ней, и плечи его опасно раскачивались.

Когда они устроились в гостиной, ему стало легко — гораздо легче, чем он ожидал. Она сама помогала ему чувствовать себя непринуждённо; а мягкая и благородная манера, с которой она это делала, лишь ещё сильнее разжигала его любовь к ней.

Сначала они говорили о взятых книгах, о Суинберне, которым он был увлечён, и о Браунинге, которого не понимал; она переводила разговор с одной темы на другую, одновременно размышляя, как могла бы ему помочь.

С тех пор как они впервые встретились, она часто об этом думала. Ей хотелось помочь ему. Он пробуждал в ней такую жалость и нежность, каких прежде не пробуждал никто; и жалость эта была не столько снисходительной, сколько материнской. Она не могла быть обычной жалостью, когда человек, вызывавший её, был настолько мужчиной, что пугал её девичьими страхами и заставлял её ум и пульс трепетать от странных мыслей и чувств.

Её по-прежнему завораживала его шея, и мысль о том, чтобы положить на неё руки, казалась ей сладкой. Это всё ещё представлялось ей безрассудным порывом, но теперь она уже немного к нему привыкла. Она и не подозревала, что именно в таком облике в ней обретает очертания только что родившаяся любовь. Не подозревала она и того, что чувство, которое он вызывал в ней, было любовью. Она думала, что просто заинтересовалась необычным человеком, обладавшим множеством скрытых достоинств, и даже ощущала в этом нечто вроде благодетельности.

Она не знала, что желает его; с ним же всё было иначе. Он знал, что любит её, и желал её так, как никогда прежде ничего в жизни не желал. Он любил поэзию ради красоты; но с тех пор как встретил её, перед ним широко распахнулись врата необъятного мира любовной поэзии.

Была одна строка, на которую ещё неделю назад он не обратил бы второго взгляда: «Безумный Божий любовник, умирающий от поцелуя»; но теперь она неотступно звучала в его сознании. Он изумлялся её чуду и правде; и, глядя на неё, понимал, что мог бы умереть от поцелуя счастливым.

Он чувствовал себя Божьим безумным любовником, и никакой рыцарский орден не мог бы доставить ему большей гордости. И наконец он понял смысл жизни и то, зачем родился.

Глядя на неё и слушая, он позволял своим мыслям становиться всё смелее. Он снова и снова переживал в памяти тот дикий восторг, который испытал от прикосновения её руки у двери, и жаждал повторить его. Его взгляд часто останавливался на её губах, и он голодно тянулся к ним.

Но в этой жажде не было ничего грубого или земного. Ему доставляло изысканное наслаждение наблюдать за каждым движением и каждой игрой этих губ, когда они произносили слова; и всё же это были не обычные губы, какие есть у всех мужчин и женщин. Они были не просто человеческой плотью. Это были губы чистого духа, и желание обладать ими казалось ему совершенно иным, нежели желание, которое прежде влекло его к губам других женщин.

Он мог бы поцеловать её губы, прикоснуться к ним своими физическими губами, но сделал бы это с тем возвышенным и благоговейным пылом, с каким целуют край Божьей одежды.

Он не осознавал той перемены в своих ценностях, которая произошла в нём, и не замечал, что огонь, загоравшийся в его глазах при взгляде на неё, был тем же огнём, который вспыхивает во взгляде мужчины, охваченного любовным желанием.

Он и не подозревал, насколько страстным и мужским был его взгляд, и что его тёплое пламя воздействовало на алхимию её души. Её целомудрие возвышало и скрывало от него самого природу его собственных чувств, поднимая его мысли до холодной, звёздной чистоты; и он был бы поражён, узнай, что из его глаз действительно исходило сияние, подобное тёплым волнам, которые проходили сквозь неё и пробуждали в ней ответное тепло.

Это незаметно тревожило её, и не раз — хотя она сама не знала почему — это восхитительное вторжение разрушало ход её мыслей и заставляло её на ходу собирать обрывки ещё не высказанных мыслей. Обычно говорить ей было легко, и эти перебои озадачили бы её, если бы она не решила, что причина в том, что перед ней необыкновенный человек.

Она была чрезвычайно восприимчива к впечатлениям, и, в конце концов, разве было странно, что эта аура странника из другого мира так на неё действует?

На заднем плане её сознания всё время оставался вопрос: как помочь ему. Она повернула разговор в эту сторону, но первым к сути пришёл Мартин.

— Я хотел бы попросить у вас совета, — начал он и получил в ответ согласие, от которого сердце его радостно забилося. — Помните, в прошлый раз я говорил, что не могу говорить о книгах и всяком таком, потому что не знаю как? Ну, с тех пор я много думал. Я часто ходил в библиотеку, но большинство книг, за которые брался, были мне не по силам. Наверное, мне лучше начать с самого начала.

У меня никогда не было никаких преимуществ. Я с самого детства привык к тяжёлому труду, а с тех пор как начал ходить в библиотеку, иначе смотреть на книги и открывать для себя всё новые книги, — я понял, что читал совсем не то, что нужно.

Понимаете, книги, которые находишь в скотских лагерях и в кубриках кораблей, — не те же книги, что стоят, например, у вас дома. Ну вот к такому чтению я привык. И всё же — я не хвастаюсь — я всегда отличался от людей, с которыми жил. Не то чтобы я был лучше моряков и ковбоев, с которыми путешествовал, — я ведь некоторое время работал ковбоем, — но я всегда любил книги, читал всё, что попадалось под руку, и... думаю, я всё-таки иначе мыслю, чем большинство из них.

Но теперь к делу. Я никогда не входил в такой дом, как этот. Когда я пришёл сюда неделю назад, увидел всё это, вас, вашу мать, братьев, всё вокруг... мне это понравилось. Я слышал о таких вещах и читал о них в некоторых книгах, а когда оглядел ваш дом, словно всё, о чём я читал в книгах, вдруг ожило передо мной.

Но дело в том, что мне это понравилось. Я захотел этого. И сейчас хочу. Я хочу дышать таким воздухом, как у вас в доме, — воздухом, наполненным книгами, картинами и красивыми вещами, где люди говорят тихими голосами, чисты сами и чисты их мысли.

А воздух, которым я всегда дышал, был смешан с разговорами о еде, квартирной плате, драках и выпивке — и только об этом они и говорили. Когда вы пересекали комнату, чтобы поцеловать мать, я подумал, что это самое прекрасное, что когда-либо видел.

Я много повидал в жизни, и почему-то видел гораздо больше, чем большинство тех, кто был рядом со мной. Мне нравится смотреть, и я хочу видеть больше, хочу видеть всё иначе.

Но я ещё не дошёл до сути. Вот она. Я хочу пробиться к такой жизни, какая у вас в этом доме. В жизни есть нечто большее, чем выпивка, тяжёлая работа и бесконечное скитание. Как мне к этому прийти? За что взяться? С чего начать?

Я готов работать, не покладая рук, понимаете. В тяжёлой работе я могу дать фору большинству мужчин. Стоит мне только начать — буду работать день и ночь.

Может быть, вам смешно, что я обо всём этом спрашиваю. Я знаю, что меньше всего на свете мне следовало бы спрашивать вас, но я не знаю никого другого, кого мог бы спросить, — разве что Артура. Может, мне стоило спросить его. Если бы я был...

Голос его затих. Его тщательно продуманная речь остановилась перед ужасной вероятностью: а вдруг ему действительно следовало спросить Артура и теперь он выставил себя дураком?

Руфь не ответила сразу. Она была слишком поглощена попыткой совместить его сбивчивую, неуклюжую речь и простоту мыслей с тем, что видела в его лице. Никогда ещё она не смотрела в глаза, выражавшие такую силу.

Перед ней был человек, способный на всё, — именно это говорили ей его глаза, — и это совершенно не сочеталось со слабостью его устной речи.

К тому же её собственный ум был настолько сложным и быстрым, что она не умела по настоящему ценить простоту. И всё же она уловила ощущение силы даже в самом нащупывании этим умом пути вперёд. Ей казалось, будто гигант извивается и напрягается, пытаясь разорвать пути, удерживающие его внизу.

Когда она наконец заговорила, всё её лицо выражало сочувствие.

— Вы сами понимаете, что вам нужно, — и это образование. Вам следует вернуться и закончить начальную школу, потом пройти среднюю школу и университет.

— Но это требует денег, — перебил он.

— Ах! — воскликнула она. — Я об этом не подумала. Но ведь у вас есть родственники, кто-нибудь, кто мог бы вам помочь?

Он покачал головой.

— Мои отец и мать умерли. У меня две сестры: одна замужем, другая, думаю, скоро выйдет замуж. А ещё у меня целая вереница братьев — я младший, — но они никогда никому не помогали. Каждый всю жизнь мотался по свету, заботясь только о себе. Старший умер в Индии. Двое сейчас в Южной Африке, ещё один ушёл в китобойный рейс, а один путешествует с цирком — работает на трапеции.

Наверное, я такой же, как они. Я сам о себе забочусь с одиннадцати лет — это когда умерла мать. Видимо, придётся учиться самому. Я только хочу понять, с чего начать.

— Я бы сказала, что прежде всего вам нужна грамматика. Ваша грамматика...

Она хотела сказать «ужасна», но смягчила:

— ...не особенно хороша.

Он покраснел и вспотел.

— Я знаю, что говорю много жаргонных слов и слов, которых вы не понимаете. Но это единственные слова, которые я знаю — чтобы говорить. В голове у меня есть и другие слова, я нахватался их из книг, но не умею их произносить, поэтому не употребляю.

— Дело не столько в том, *что* вы говорите, сколько в том, *как* вы говорите. Вы не против, если я буду откровенна? Я не хочу вас обидеть.

— Нет, нет, — воскликнул он, втайне благодарный ей за доброту. — Говорите всё. Мне нужно знать, и я лучше узнаю это от вас, чем от кого-либо другого.

— Ну, например, вы говорите: «You was» — «ты был», тогда как правильно «You were» — «ты был». Вы говорите «I seen» вместо «I saw» — «я видел». Вы используете двойное отрицание...

— А что такое двойное отрицание? — потребовал объяснения он, а затем смиренно добавил: — Видите, я даже ваших объяснений не понимаю.

— Боюсь, я плохо объяснила, — улыбнулась она. — Двойное отрицание — это... дайте подумать... Ну вот вы говорите: «never helped nobody» — «никогда никому не помогали». «Never» — отрицание. «Nobody» — ещё одно отрицание. По правилу два отрицания образуют утверждение. «Never helped nobody» получается, будто, не помогая никому, они должны были кому-нибудь помочь.

— Это довольно понятно, — сказал он. — Я никогда раньше об этом не думал. Но ведь это не означает, что они *должны* были кому-то помочь, верно? Мне кажется, «never helped nobody» просто не говорит, помогали они кому-нибудь или нет. Прежде мне это и в голову не приходило — и больше я так никогда не скажу.

Она была одновременно поражена и восхищена быстротой его ума и уверенностью, с которой он рассуждал. Как только он уловил ключ к объяснению, он не только всё понял, но и исправил её собственную ошибку.

— Всё это вы найдёте в грамматике, — продолжила она. — Есть ещё кое-что, что я заметила в вашей речи. Вы говорите «don't» там, где не следует. «Don't» — это сокращение, за которым стоят два слова. Вы знаете какие?

Он немного подумал и ответил:

— «Do not».

Она кивнула:

— А вы используете «don't», когда имеете в виду «does not».

Это поставило его в тупик, и здесь он понял не так быстро.

— Приведите пример, — попросил он.

— Ну... — Она нахмурилась и поджала губы, обдумывая пример, а он смотрел на неё и решил, что это выражение лица восхитительно. — «It don't do to be hasty» — «Не следует торопиться». Если заменить «don't» на «do not», получится: «It do not do to be hasty», что совершенно нелепо.

Он обдумал это, снова и снова прокручивая в голове.

— Разве это не режет вам слух? — подсказала она.

— Не могу сказать, что режет, — рассудительно ответил он.

— Тогда почему вы не сказали «Can't say that it do»?

— Это звучит неправильно, — медленно произнёс он. — А насчёт другого я никак не могу решить. Наверное, моё ухо просто не такое тренированное, как ваше.

— И ещё: «ain't» — вообще не слово, — подчеркнула она.

Мартин снова покраснел.

— И вы говорите «ben» вместо «been», — продолжала она, — «come» вместо «came»; а то, как вы обрываете окончания, просто ужасно.

— Что вы имеете в виду? — Он наклонился вперёд, чувствуя, что перед таким умом ему хотелось бы встать на колени. — Как я их обрываю?

— Вы не произносите окончания полностью. «A-n-d» пишется *and*. Вы произносите *an*. «I-n-g» пишется *ing*. Иногда вы произносите *ing*, а иногда отбрасываете *g*. А ещё вы смазываете слова, опуская первые буквы и дифтонги. «T-h-e-m» пишется *them*. Вы произносите... ну, не стоит разбирать всё до конца. Вам нужна грамматика. Я достану одну и покажу, с чего начать.

Когда она поднялась, в его сознании мелькнуло кое-что, прочитанное им в книгах по этикету. Он неловко встал, мучительно пытаясь понять, правильно ли поступает, и опасаясь, что она может принять это за знак, будто он собирается уйти.

— Кстати, мистер Иден, — окликнула она его, выходя из комнаты. — Что такое *booze*? Вы несколько раз употребили это слово.

— А, выпивка, — засмеялся он. — Это сленг. Значит виски и пиво — всё, от чего человек пьянеет.

— И ещё одно, — засмеялась она в ответ. — Не употребляйте «you», когда говорите о человеке вообще. «You» — слово очень личное, и сейчас вы употребили его не совсем в том значении, которое имели в виду.

— Я не совсем понимаю.

— Только что вы сказали мне: «Виски и пиво — всё, от чего *вы* пьянеете», — то есть от чего я пьянею, понимаете?

— Ну, а разве так и не было бы?

— Конечно, — улыбнулась она. — Но было бы лучше не включать меня в это. Замените «you» на «one» — и увидите, насколько лучше это звучит.

Когда она вернулась с грамматикой, она придвинула стул к его стулу — он задумался, не следовало ли ему помочь ей придвинуть стул — и села рядом. Она перелистывала страницы грамматики, и их головы склонились друг к другу.

Он едва следил за её объяснениями того, что ему предстояло изучить: настолько он был ошеломлён восхитительной близостью. Но когда она начала объяснять значение спряжения, он забыл обо всём остальном.

Он никогда прежде не слышал о спряжении. Он был заворожён внезапным проблеском понимания: перед ним впервые приоткрылось устройство языка, его внутренний каркас. Он наклонился ближе к странице, и её волосы коснулись его щеки.

За всю жизнь он лишь однажды терял сознание, и теперь ему показалось, что он снова вот-вот потеряет сознание. Он едва мог дышать; сердце колотилось, гоня кровь к горлу и душило его.

Никогда прежде она не казалась ему такой близкой. На мгновение огромная пропасть, разделявшая их, словно была перекинута мостом.

Но возвышенность его чувства к ней ничуть не уменьшилась. Не она спустилась к нему. Это его подхватило в облака и вознесло к ней.

Его благоговение перед ней в этот миг было сродни религиозному страху и восторгу. Ему казалось, будто он проник в святая святых, и он медленно и осторожно отстранил голову от прикосновения, которое пронзило его, словно электрический разряд, — прикосновения, которого она даже не заметила.

ГЛАВА VIII

Прошло несколько недель. Всё это время Мартин изучал грамматику, повторял книги по этикету и жадно читал всё, что привлекало его внимание. Из своего прежнего круга он никого не видел.

Девушки из клуба «Лотос» гадали, куда он пропал, и донимали Джима расспросами; некоторые из парней, которые надевали боксёрские перчатки у Райли, были только рады, что Мартин больше не приходит.

В библиотеке он снова обнаружил настоящее сокровище. Подобно тому как грамматика открыла ему внутренний каркас языка, эта книга открыла ему внутренний каркас поэзии. Он начал изучать метр, построение и форму, обнаруживая под красотой, которую любил, причины и законы этой красоты.

В другой современной книге поэзия рассматривалась как изобразительное искусство и разбиралась исчерпывающе, с многочисленными примерами из лучших произведений литературы. Никогда прежде он не читал художественную литературу с таким жадным интересом, с каким теперь изучал эти книги.

Его свежий ум, двадцать лет не знавший никакой нагрузки, теперь, движимый зрелым стремлением к знаниям, впитывал прочитанное с необычной для ученика силой.

Теперь, с высоты достигнутого, он видел прежний мир — мир земли и моря, кораблей, моряков и хищных женщин — совсем маленьким; и всё же этот мир, сливаясь с новым, становился шире.

Его ум стремился к единству, и он удивлялся, когда начал замечать точки соприкосновения между двумя мирами.

Кроме того, найденные в книгах возвышенность мысли и красота облагораживали его. Это ещё сильнее убеждало его, что наверху, в обществе Руфь и её семьи, все мужчины и женщины думают подобные мысли и живут подобной жизнью.

Внизу, где жил он, царило всё низкое; и он хотел очистить себя от всего, что оскверняло его жизнь, и подняться в тот чистый, возвышенный мир, где обитали высшие классы.

Все детство и юность его мучило смутное беспокойство. Он никогда не знал, чего именно хочет, но всегда чего-то хотел и тщетно искал это, пока не встретил Руфь.

Теперь его беспокойство стало острым и болезненным, и наконец он понял: ему нужны красота, ум и любовь.

За эти несколько недель он видел Руфь около шести раз, и каждая встреча становилась новым источником вдохновения. Она помогала ему с английским, исправляла его произношение и начала обучать арифметике.

Но их общение не сводилось к элементарным занятиям. Он слишком много видел в жизни и слишком зрелым был его ум, чтобы целиком довольствоваться дробями, извлечением кубических корней, разбором и анализом; иногда их разговоры переходили к другим темам — к последней поэзии, которую он прочёл, к последнему поэту, которого изучала она.

А когда она читала ему вслух любимые отрывки, он возносился на вершины блаженства.

Никогда среди всех женщин, которых ему доводилось слышать, он не слышал голоса, подобного её голосу. Каждый его звук был стимулом для его любви, и он трепетал от каждого произнесённого ею слова.

Дело было в самом тембре её голоса, в его спокойствии, в музыкальных перегибах — в мягком, богатом, неуловимом сочетании культуры и душевной нежности.

Слушая её, он словно вновь слышал в памяти резкие крики варварских женщин и старух, а в меньшей степени резкости — пронзительные голоса работниц и девушек из его собственного круга.

Тогда начинала действовать особая химия восприятия, и все они проходили вереницей через его сознание и каждая, по контрасту, ещё сильнее подчёркивала великолепие Руфь.

Его блаженство становилось ещё сильнее от сознания того, что её ум понимал читаемое и трепетал от красоты выраженной в тексте мысли.

Она часто читала ему из «Принцессы», и он нередко видел, как её глаза наполнялись слезами: настолько тонко была настроена её эстетическая природа.

В такие моменты её собственные эмоции возносили его так высоко, что он чувствовал себя богом; и, глядя на неё и слушая, ему казалось, что он смотрит в лицо самой жизни и читает её глубочайшие тайны.

И тогда, осознав, каких вершин тончайшей восприимчивости он достигает, он решил, что это и есть любовь и что любовь — величайшая вещь на свете.

Перед его мысленным взором проходили все прежние волнения и страсти, которые он когда-либо испытывал: опьянение вином, ласки женщин, грубая игра и взаимная борьба тел — и всё это казалось ничтожным и низким по сравнению с возвышенным пылом, которым он теперь наслаждался.

Для Руфь всё происходящее оставалось скрытым.

Она никогда не испытывала сердечных переживаний. Единственным её опытом в подобных вопросах были книги, где факты повседневной жизни воображение превращало в сказочный мир нереальности.

Она почти не понимала, что этот грубый моряк постепенно проникает в её сердце и копит там силы чувства, которые однажды вырвутся наружу и прокатятся по ней огненными волнами.

Она не знала настоящего огня любви. Её знание любви было чисто теоретическим, и представляла она её себе как мягкое, мерцающее пламя — нежное, как падение росы или рябь спокойной воды, и прохладное, как бархатистая тьма летней ночи.

Её представление о любви сводилось скорее к тихой привязанности: мягко служить любимому человеку в атмосфере, наполненной ароматом цветов и приглушённым светом, в неземном спокойствии.

Она и не подозревала о вулканических потрясениях любви, её обжигающем жаре и бесплодных пространствах высохшего пепла.

Она не знала ни собственных сил, ни сил мира; глубины жизни представлялись ей морями иллюзий.

Супружеская любовь её отца и матери была для неё идеалом любовной близости, и она надеялась когда-нибудь без потрясений и трений войти в такую же тихую сладость существования рядом с любимым человеком.

Поэтому она смотрела на Мартина Идена как на диковинку, странного человека и связывала с этой новизной и странностью те чувства, которые он в ней пробуждал.

Это казалось ей совершенно естественным. Подобные необычные чувства она испытывала, когда смотрела на диких животных в зверинце, наблюдала бурю или вздрагивала от яркой, разветвлённой молнии.

В таких явлениях было нечто космическое — и в нём было нечто космическое.

Он приходил к ней, дыша простором и великими далями. Сияние тропического солнца было на его лице, а в его упругих, налитых мышцах ощущалась первозданная сила жизни.

Его изуродовал и изранил тот таинственный мир грубых мужчин и ещё более грубых поступков, дальние окраины которого начинались за пределами её горизонта.

Он был необузданным, диким; и втайне её самолюбие тешило то обстоятельство, что в её руках он становился таким кротким.

Её также волновал обычный инстинкт приручить дикое существо. Это было бессознательным порывом, и дальше всего от её мыслей находилось понимание того, что она хочет

снова вылепить его из глины, придав ему образ собственного отца — образ, который она считала лучшим в мире.

Неопытность не позволяла ей понять, что космическое ощущение, которое она в нём улавливала, было самым космическим из всех явлений — любовью, которая с одинаковой силой соединяет мужчин и женщин по всему миру, заставляет оленей убивать друг друга в брачный период и даже неудержимо побуждает стихии к соединению.

Его стремительное развитие неизменно удивляло и всё сильнее занимало её. День за днём она обнаруживала в нём всё новые, прежде не замеченные тонкости, которые, казалось, распускались, словно цветы в благоприятной почве.

Она читала ему Браунинга вслух и часто удивлялась странным толкованиям, которые он давал спорным местам.

Она не могла понять, что благодаря собственному опыту людей, женщин и самой жизни он гораздо чаще оказывался прав в своих толкованиях, чем она.

Его представления казались ей наивными, хотя его смелые взлёты понимания нередко зажигали её саму. Их путь уходил так далеко среди звёзд, что она не могла следовать за ним и могла лишь сидеть и трепетать под воздействием ещё неведомой ей силы.

Затем она играла для него — уже не перед ним, а именно для него — и испытывала его музыкой, которая опускалась в глубины, недоступные даже её собственному пониманию.

Его природа раскрывалась навстречу музыке, как цветок навстречу солнцу, и переход от рабочего регтайма и простеньких мелодий, которые он знал, к её классическим пьесам, которые она знала почти наизусть, оказался стремительным.

И всё же в нём обнаружилась поистине демократическая любовь к Вагнеру, и увертюра к «Тангейзеру», когда она дала ему ключ к её пониманию, покорила его так, как ничто другое из сыгранного ею.

Она мгновенно стала воплощением его жизни.

Всё его прошлое звучало для него мотивом Венусберга, а её он каким-то образом связывал с мотивом Хора пилигримов; и из возвышенного состояния, в которое это его возносило, он устремлялся всё дальше и выше — в огромную тeneвую область духовного поиска, где добро и зло вечно ведут борьбу.

Иногда он задавал вопросы и заставлял её на мгновение усомниться в правильности собственных музыкальных определений и представлений.

Но её пение он никогда не ставил под вопрос. Оно было слишком неотделимо от неё самой, и он всегда сидел, поражённый божественным звучанием её чистого сопрано.

И он не мог не сравнивать её голос со слабыми попискиваниями и пронзительными дрожащими звуками фабричных девушек — плохо питавшихся и необученных — и с хриплыми криками, вырывавшимися из сорванных джином глоток женщин портовых городов.

Ей нравилось петь и играть для него.

На самом деле впервые в её жизни появилась человеческая душа, с которой она могла играть, и пластичная глина его существа доставляла ей удовольствие как материал для лепки; ведь она думала, что именно лепит его, и намерения её были добрыми.

Кроме того, ей было приятно находиться рядом с ним. Он больше не отталкивал её.

То первое отвращение на самом деле было страхом перед самой собой, ещё не открытой ей, и этот страх заснул.

Хотя она сама этого не осознавала, в ней уже пробуждалось чувство, будто он принадлежит ей.

Кроме того, его присутствие необыкновенно оживляло её. Она усердно училась в университете, и ей казалось, что встреча с ним укрепляет её: она выходила из пыльного мира книг, и свежий морской ветер его личности обдувал её.

Сила! Вот чего ей не хватало, и он давал ей её в изобилии.

Стоило войти с ним в одну комнату или встретить его у двери — и она вновь ощущала вкус к жизни.

А когда он уходил, она возвращалась к книгам с ещё большей энергией и новым запасом сил.

Она хорошо знала Браунинга, но ей никогда не приходило в голову, насколько опасно играть с человеческими душами.

По мере того как её интерес к Мартину возрастал, переделка его жизни становилась для неё страстью.

— Вот мистер Батлер, — сказала она однажды днём, когда грамматика, арифметика и поэзия были отложены в сторону.

— Поначалу у него было сравнительно мало преимуществ. Его отец был банковским кассиром, но годами болел и в конце концов умер от чахотки в Аризоне, так что после его смерти мистер Батлер — его звали Чарльз Батлер — оказался один на свете.

Отец его приехал из Австралии, поэтому родственников в Калифорнии у него не было.

Он пошёл работать в типографию — я много раз слышала, как он об этом рассказывал, — и сначала получал три доллара в неделю.

Сегодня его доход составляет по меньшей мере тридцать тысяч долларов в год.

Как он этого добился?

Он был честен, верен, трудолюбив и экономен. Он отказывал себе в удовольствиях, которыми предаются большинство мальчиков. Он поставил себе целью каждую неделю откладывать определённую сумму, чего бы ему ни пришлось лишиться ради этого.

Разумеется, вскоре он стал зарабатывать больше трёх долларов в неделю и с каждым повышением жалованья откладывал всё больше.

Днём он работал, а по вечерам ходил в вечернюю школу. Его взгляд всегда был устремлён в будущее.

Позже он стал посещать вечернюю старшую школу.

Когда ему было всего семнадцать, он уже отлично зарабатывал наборщиком, но был честолюбив. Он хотел карьеру, а не просто средства к существованию, и был готов пожертвовать настоящим ради будущей выгоды.

Он выбрал юриспруденцию и поступил в контору отца на должность мальчика на побегушках — только подумайте! — и получал всего четыре доллара в неделю.

Но он уже научился экономить и из этих четырёх долларов продолжал откладывать деньги.

Она остановилась, чтобы перевести дух и посмотреть, как Мартин воспринимает её рассказ.

Его лицо светилось интересом к юношеским трудностям мистера Батлера, но на нём одновременно появилась и складка недовольства.

— Я бы сказал, что для молодого парня это была настоящая каторга, — заметил он. — Четыре доллара в неделю! Как он мог на это жить? Можете быть уверены, никаких излишеств у него не было.

Я сейчас плачу пять долларов в неделю за стол и жильё, и, можете мне поверить, ничего особенно захватывающего в этом нет.

Он, должно быть, жил как собака.

Еда, которую он ел...

— Он сам себе готовил, — перебила она, — на маленькой керосиновой плитке.

— Еда, которую он ел, должна была быть хуже, чем еда у моряка на глубоководных судах, где кормили хуже всего, — а хуже такой еды, пожалуй, трудно было что-нибудь представить.

— Но подумайте, кем он стал теперь! — восторженно воскликнула она. — Подумайте, что позволяет ему его доход. Его ранние лишения были вознаграждены тысячекратно.

Мартин пристально посмотрел на неё.

— Вот в чём я вам готов поклясться, — сказал он. — Мистер Батлер теперь, в свои благополучные годы, вовсе не весельчак.

Он столько лет кормил такой пищей свой мальчишеский желудок — держу пари, теперь с желудком у него далеко не всё в порядке.

Она опустила глаза под его пристальным взглядом.

— Держу пари, у него сейчас несварение желудка! — бросил Мартин.

— Да, — призналась она, — но...

— И ещё держу пари, — продолжил Мартин, — что он серьёзен и мрачен, как старая сова, и ему плевать на хорошие развлечения, несмотря на все его тридцать тысяч в год.

И держу пари, ему особенно не нравится, когда другие веселятся.

Я прав?

Она кивнула и поспешила объяснить:

— Но он не такой человек. По натуре он сдержанный и серьёзный. Он всегда таким был.

— Ещё бы, — провозгласил Мартин. — Три доллара в неделю, четыре доллара в неделю, мальчишка сам готовит себе еду на масляной горелке, откладывает деньги, работает весь день и учится всю ночь, только работает и никогда не играет, никогда не веселится и никогда не учится тому, как веселиться...

Конечно, его тридцать тысяч пришли слишком поздно.

Его сочувствующее воображение мгновенно рисовало перед внутренним взором тысячи подробностей жизни этого мальчика — его узкий духовный мир и постепенное превращение в человека, зарабатывающего тридцать тысяч долларов в год.

В стремительном потоке мыслей вся жизнь Чарльза Батлера словно разом развернулась перед ним.

— Знаете, — добавил он, — мне жаль мистера Батлера.

Мартин был слишком молод, чтобы понять это, но ему казалось, что тот лишил себя жизни ради тридцати тысяч в год, которые ему совершенно ни к чему.

Да и все тридцать тысяч теперь не купят ему того, что когда-то могли купить десять центов, которые он откладывал мальчишкой: конфет, арахиса или места на галёрке.

Именно такие необычные суждения и поражали Руфь.

Они не только были для неё новыми и противоречили её собственным убеждениям, но она всегда ощущала в них зародыши истины, способные поколебать или изменить её собственные представления.

Если бы ей было четырнадцать, а не двадцать четыре, эти мысли, возможно, могли бы её изменить; но ей было двадцать четыре, она была консервативна по природе и воспитанию и уже окончательно сформировалась в том мире, где родилась и выросла.

Правда, его причудливые суждения тревожили её в те мгновения, когда он их высказывал, но она объясняла их его необычным происхождением и странным образом жизни — и вскоре забывала.

И всё же, хотя она их не одобряла, сила, с которой он их произносил, вспышки в его глазах и серьёзность лица неизменно волновали её и тянули к нему.

Она никогда бы не предположила, что этот человек, пришедший из-за пределов её мира, в такие мгновения и сам выходил за границы её представлений — к более широким и глубоким воззрениям.

Её собственный горизонт был для неё границей мира; но ограниченные умы способны замечать ограниченность лишь в других.

Поэтому ей казалось, что её собственный взгляд на мир чрезвычайно широк, а любое несогласие его взглядов с её собственными она воспринимала как свидетельство его ограниченности.

И она мечтала помочь ему увидеть мир так, как видит его она, расширить его горизонт до тех пор, пока тот не совпадёт с её собственным.

— Но я ещё не закончила свой рассказ, — сказала она. — Отец говорит, что он работал так, как не работал ни один другой мальчик в его конторе.

Мистер Батлер всегда рвался к работе. Он никогда не опаздывал и обычно приходил в контору за несколько минут до начала.

И всё же он умел экономить своё время. Каждую свободную минуту он посвящал учёбе.

Он изучал бухгалтерию и машинопись, а за уроки стенографии расплачивался тем, что по ночам диктовал судебному стенографисту, которому самому требовалась практика.

Он быстро стал клерком и сделал себя незаменимым.

Отец ценил его и видел, что он обязательно будет продвигаться вверх.

Именно по совету отца он поступил в юридическую школу.

Он стал адвокатом и, едва вернувшись в контору, получил от отца место младшего партнёра.

Он великий человек.

Он несколько раз отказывался от места в Сенате Соединённых Штатов, и отец говорит, что при желании он в любой момент мог бы стать судьёй Верховного суда, как только появится вакансия.

Такая жизнь вдохновляет всех нас.

Она показывает, что человек, обладающий волей, может подняться над обстоятельствами.

— Он великий человек, — искренне сказал Мартин.

Но ему казалось, что в этом рассказе есть нечто, что противоречит его чувству красоты и жизни.

Он не мог найти достойного мотива в жизни мистера Батлера, состоявшей из постоянных ограничений и лишений.

Если бы тот делал это ради любви к женщине или ради достижения красоты, Мартин понял бы его.

Божий безумный любовник мог бы сделать что угодно ради поцелуя, но не ради тридцати тысяч долларов в год.

Карьера мистера Батлера оставляла его неудовлетворённым.

В конце концов в ней было что-то мелкое.

Тридцать тысяч в год — это прекрасно, но несварение желудка и неспособность быть по-человечески счастливым обесценивали даже такой княжеский доход.

Многое из этого он попытался объяснить Руфь, чем шокировал её и показал, что переделка его требует ещё большей работы.

В ней проявлялась та распространённая ограниченность мышления, которая заставляет людей считать свою расу, свою веру и свои политические убеждения высшими и истинными, а других людей, рассеянных по всему миру, — менее достойными и удачливыми.

Та же ограниченность заставляла древнего иудея благодарить Бога за то, что он не создал его женщиной, а современного миссионера, подменяя Бога собой, отправляться на край земли.

И та же самая ограниченность заставляла Руфь стремиться переделать этого человека, пришедшего из другого мира, по образу мужчин, среди которых она сама выросла.

ГЛАВА IX

Мартин Иден возвращался с моря в Калифорнию, снедаемый тоской влюблённого. Деньги его иссякли, и он нанялся матросом на шхуну, отправлявшуюся на поиски сокровищ; и спустя восемь месяцев бесплодных поисков Соломоновы острова стали свидетелями распада экспедиции. Команда получила расчёт в Австралии, и Мартин тотчас нанялся на океанское судно, следовавшее в Сан-Франциско. Эти восемь месяцев не только принесли ему достаточно денег, чтобы несколько недель прожить на берегу, но и дали возможность много заниматься и читать.

Его способности к учению опирались на несокрушимую силу природы и любовь к Руфь. Граматику, которую он взял с собой, он перечитывал снова и снова, пока его ещё не утомившийся ум не овладел ею вполне. Он замечал неправильности речи своих товарищей по кораблю и нарочно мысленно исправлял и перестраивал их грубые обороты. К своей великой радости, он обнаружил, что слух его становится всё чутче, что в нём пробуждаются какие-то грамматические нервы. Двойное отрицание резало ему слух, как фальшивая нота, и нередко, по недостатку практики, эта фальшь исходила из его собственных уст. Языку требовалось время, чтобы привыкнуть к новым приёмам.

Перечитав грамматику множество раз, он взялся за словарь и стал ежедневно прибавлять к своему словарному запасу по двадцать слов. Он обнаружил, что это совсем не лёгкое дело, и за штурвалом или на вахте снова и снова перебирал в уме всё удлинявшийся список слов, их произношений и значений, неизменно засыпая во время такого повторения. «Never did anything», «if I were» и «those things» — эти и множество подобных выражений он повторял про себя, чтобы приучить свой язык к речи, которой говорила Руфь. «And» и «ing», с отчётливым произнесением «d» и «g», он повторял тысячи раз; и, к своему удивлению, заметил, что начинает говорить по-английски чище и правильнее, чем сами офицеры и те джентльмены-авантюристы в каюте, которые финансировали экспедицию.

Капитаном был норвежец с рыбьими глазами, каким-то образом завладевший полным собранием Шекспира, которого он никогда не читал; Мартин стирал ему бельё, а взамен получил разрешение пользоваться драгоценными томами. Некоторое время он настолько погрузился в пьесы и во множество любимых отрывков, почти без усилия запечатлевавшихся в его памяти, что весь мир начал представляться ему в формах елизаветинской трагедии или комедии, а собственные мысли звучали белым стихом. Это воспитало его слух и дало ему тонкое чувство благородного английского языка; вместе с тем в его сознание проникло немало архаического и устарелого.

Эти восемь месяцев не пропали даром, и, помимо того, чему он научился в искусстве правильной речи и высокого мышления, он многое узнал о самом себе. Сознание собственного невежества принесло ему смирение, но вместе с ним в нём родилось и чувство силы. Он ощущал резкую грань между собой и своими товарищами по кораблю и был достаточно мудр, чтобы понимать: разница заключалась не в достигнутом, а в заложенных возможностях. То, что мог сделать он, могли сделать и они; но внутри него шло какое-то смутное брожение, говорившее, что он способен на большее, чем уже сделал.

Он мучительно остро чувствовал дивную красоту мира и желал, чтобы Руфь была рядом и могла разделить её с ним. Он решил рассказать ей о множестве картин красоты Южных морей. Творческий дух в нём вспыхнул при этой мысли и потребовал не просто рассказать об этой красоте Руфь, но заново сотворить её для куда более широкой аудитории. И тогда — во всём блеске и великолепии — пришла великая мысль.

Он будет писать.

Он станет одним из тех глаз, через которые мир видит; одним из тех ушей, через которые он слышит; одним из тех сердец, через которые он чувствует. Он будет писать обо всём: стихи и прозу, вымысел и описания, пьесы — как Шекспир. Вот она — карьера и путь к Руфь. Люди литературы были великанами мира, и в его представлении они были куда выше мистеров Батлеров, получавших тридцать тысяч долларов в год и способных, если пожелают, стать судьями Верховного суда.

Едва возникнув, мысль целиком завладела им, и обратное плавание в Сан-Франциско прошло словно во сне. Он был пьян ещё неведомой ему силой и чувствовал, что способен на всё. Посреди огромного одинокого моря он обрёл перспективу. Ясно и впервые он увидел Руфь и её мир. Всё это предстало перед его мысленным взором как нечто цельное и осязаемое, что можно было взять обеими руками, повернуть и рассмотреть со всех сторон. Много в том мире оставалось смутным и туманным, но теперь он видел его целиком, а не в отдельных подробностях, и видел также путь, которым можно было его покорить.

Писать!

Эта мысль горела в нём огнём. Он начнёт, как только вернётся. Первым делом он опишет плавание охотников за сокровищами. Продаст рассказ какой-нибудь сан-францисской газете. Руфь он ничего не скажет, и она удивится и обрадуется, увидев его имя напечатанным. А пока будет писать, сможет продолжать учиться. В сутках двадцать четыре часа. Он непобедим. Он умеет работать, и крепости падут перед ним.

Ему больше не придётся снова выходить в море — во всяком случае, матросом; и на миг перед ним возникло видение паровой яхты. Другие писатели владели паровыми яхтами. Конечно, предупреждал он себя, сначала успех придёт нескоро, и некоторое время он будет довольствоваться тем, что заработает писательством достаточно, чтобы продолжать учиться. А затем, спустя какое-то время — очень неопределённое время, — когда он всему научится и как следует подготовится, он станет писать великие вещи, и его имя будет у всех на устах.

Но важнее этого, неизмеримо важнее и величайшее из всего — он докажет, что достоин Руфь.

Слава — это, конечно, хорошо, но именно ради Руфь возникла его великолепная мечта. Он не был охотником за славой — он был лишь одним из безумных возлюбленных Бога.

Прибыв в Окленд и получив причитавшийся ему увесистый заработок, он снова снял свою прежнюю комнату у Бернарда Хиггинботэма и принялся за работу. Он даже не сообщил Руфь, что вернулся. Он пойдёт к ней, когда закончит статью об охотниках за сокровищами. Воздерживаться от встречи с ней было не так уж трудно: его сжигал лихорадочный жар творчества. Кроме того, сама статья, которую он писал, должна была приблизить его к ней.

Он не знал, какой длины должна быть статья, но подсчитал количество слов в двухполосной статье воскресного приложения к San Francisco Examiner и взял её за образец. Три дня, проведённые в белом жару, завершили его рассказ; но когда он тщательно переписал его крупным, разборчивым почерком, из взятой в библиотеке риторики узнал, что рукопись должна быть разбита на абзацы и снабжена кавычками. Раньше он никогда об этом не задумывался. Он немедленно принялся переписывать статью заново, постоянно сверяясь со страницами риторики, и за один день узнал о композиции больше, чем средний школьник узнаёт за год.

Когда он переписал статью во второй раз и аккуратно свернул рукопись, то прочёл в газете заметку с советами начинающим и обнаружил железное правило: рукописи никогда не следует сворачивать, а писать их нужно только на одной стороне листа. Он нарушил оба правила.

Кроме того, из этой заметки он узнал, что первоклассные газеты платят не менее десяти долларов за колонку. И потому, переписывая рукопись в третий раз, он утешал себя, умножая десять колонок на десять долларов. Результат всегда получался один и тот же — сто долларов, — и Мартин решил, что это лучше, чем мореплавание.

Если бы не его промахи, он закончил бы статью за три дня.

Сто долларов за три дня!

На море ему понадобилось бы три месяца, а то и больше, чтобы заработать такую сумму. Глупо человеку идти в море, если он может писать, решил он, хотя сами деньги мало его интересовали. Ценность их заключалась в свободе, которую они ему дадут, в приличной одежде, которую на них можно будет купить, — всё это приблизит его, стремительно приблизит к той стройной, бледной девушке, которая перевернула его жизнь и подарила ему вдохновение.

Он отправил рукопись в плоском конверте на имя редактора San Francisco Examiner. Мартин полагал, что всё, что принимается газетой, тотчас же публикуется, и, поскольку отправил рукопись в пятницу, ожидал увидеть её в следующем воскресном выпуске. Ему казалось прекрасным сообщить Руфь о своём возвращении именно таким образом. А потом, в воскресенье после обеда, он пойдёт к ней.

Тем временем его занимала другая мысль, которой он особенно гордился как мыслью здоровой, осторожной и скромной. Он напишет приключенческий рассказ для мальчиков и продаст его в The Youth's Companion. Он отправился в бесплатный читальный зал и просмотрел подшивки The Youth's Companion. Оказалось, что повести с продолжением обычно печатались в этом еженедельнике в пяти частях, примерно по три тысячи слов каждая. Он обнаружил несколько повестей, растянувшихся на семь частей, и решил написать именно такой длины.

Когда-то он совершил китобойное плавание в Арктику — плавание, которое должно было продолжаться три года, но закончилось кораблекрушением через шесть месяцев. Хотя воображение Мартина порой было причудливым, даже фантастическим, в основе его лежала любовь к действительности, заставлявшая его писать о том, что он знал. А китобойное дело он знал хорошо, и, опираясь на накопленные знания, принялся создавать вымышленные приключения двух мальчиков, которых собирался сделать главными героями.

В субботу вечером он решил, что работа идёт легко. В этот день он закончил первую часть, три тысячи слов, — к великому веселью Джима и неприкрытому издевательству мистера Хиггинботэма, который за столом насмешливо растягивал слово «литератор», словно в их семействе вдруг объявился настоящий литератор.

Мартин утешался, представляя удивление шурина в воскресенье утром, когда тот откроет свой Examiner и увидит статью об охотниках за сокровищами. Рано утром Мартин сам выбежал к входной двери и нервно принялся просматривать толстый воскресный выпуск. Потом перечитал его второй раз, уже очень внимательно, свернул и положил на место.

Он был рад, что никому не рассказал о своей статье. Подумав ещё, он решил, что ошибался относительно скорости, с которой материалы попадают на газетные полосы. Кроме того, в его статье не было никакой новостной ценности, и, скорее всего, редактор сначала напишет ему.

После завтрака он продолжил свою повесть. Слова текли из-под его пера, хотя он часто прерывал работу, чтобы заглянуть в словарь или свериться с риторикой. Во время таких пауз он нередко прочитывал или перечитывал целую главу и утешал себя тем, что, хотя ещё не пишет великих вещей, которые, как он чувствует, заключены в нём, он всё же учится композиции, учится оформлять и выражать свои мысли.

Он трудился до темноты, а затем отправлялся в читальный зал и просматривал журналы и еженедельники до самого закрытия в десять часов.

Такова была его программа на всю неделю. Каждый день он писал по три тысячи слов, а каждый вечер разбирался в журналах, отмечая про себя рассказы, статьи и стихи, которые редакторы считали достойными публикации.

Одно было несомненно: то, что делали эти бесчисленные писатели, мог сделать и он; нужно лишь дать ему время — и он сделает то, чего они сделать не могут.

Его воодушевило то, что в Book News, в заметке о заработках журнальных писателей, он прочёл не то, что Редьярд Киплинг получает доллар за слово, а то, что минимальная ставка первоклассных журналов составляет два цента за слово.

The Youth's Companion был, несомненно, первоклассным изданием, а значит, за написанные им в тот день три тысячи слов он получит шестьдесят долларов — двухмесячный заработок на море!

В пятницу вечером он закончил повесть — двадцать одну тысячу слов.

По два цента за слово — подсчитал он — это принесёт четырёста двадцать долларов.

Неплохая недельная работа.

Это были деньги, которыми он никогда прежде не владел одновременно. Он не знал, как потратить их все. Он открыл золотую жилу. Отсюда деньги можно будет получать всегда.

Он планировал купить ещё одежды, подписаться на множество журналов и приобрести десятки справочных книг, за которыми теперь вынужден был ходить в библиотеку. И всё же значительная часть четырёхсот двадцати долларов оставалась неистраченной.

Это тревожило его, пока ему не пришла мысль нанять служанку для Гертруды и купить велосипед Мариан.

Он отправил объёмистую рукопись в The Youth's Companion, а в субботу после обеда, закончив планировать статью о ловле жемчуга, отправился к Руфь.

Он позвонил по телефону, и она сама вышла встретить его у двери.

Прежнее, знакомое пламя здоровья исходило от него и обрушилось на неё всей своей силой. Казалось, оно проникло в её тело, заструилось по венам жидким сиянием и заставило её содрогаться от силы, которой оно её наделяло.

Он жарко покраснел, когда взял её руку и посмотрел в её голубые глаза. Восьмимесячный загар скрывал румянец, проступивший на его лице, но не мог скрыть красную полосу на шее, оставленную жёстким воротником. Она заметила эту полоску с улыбкой, которая быстро исчезла, когда взглянула на его одежду.

Костюм действительно сидел на нём хорошо — первый, сшитый на заказ, — и он казался стройнее и лучше сложен. Кроме того, вместо матерчатой кепки на нём была мягкая шляпа; Руфь велела ему надеть её и похвалила его внешний вид.

Она не помнила, когда в последний раз чувствовала себя настолько счастливой. Эта перемена в нём была делом её рук, и она гордилась ею, горела желанием помочь ему ещё больше.

Но самой радикальной переменой — и той, что радовала её сильнее всего, — была перемена в его речи.

Он не только говорил правильнее, но и выражался легче, свободнее, и в его словаре появилось множество новых слов. Однако, когда он возбуждался или приходил в восторг, то вновь скатывался к прежней смазанной речи и проглатывал конечные согласные. Иногда возникала и неловкая заминка, когда он пытался произнести новые слова, которым научился.

С другой стороны, вместе с лёгкостью выражения мыслей он обнаруживал такую живость и остроумие, что это приводило её в восторг. Это был прежний его дух юмора и весёлой пикировки, благодаря которому он был любимцем в своём кругу, но которым прежде не мог пользоваться в её присутствии из-за нехватки слов и навыка.

Он только начинал свыкаться с этим домом и чувствовать себя здесь уже не совсем чужим. Но он был чрезвычайно осторожен — даже щепетилен: позволял Руфь задавать тон живости и фантазии, следовал за ней, но никогда не осмеливался выйти вперёд.

Он рассказал ей, чем занимался, о своём намерении зарабатывать писательством и продолжать учёбу.

Но её неодобрение разочаровало его.

Она не слишком высоко оценивала его план.

— Видите ли, — откровенно сказала она, — писательство должно быть ремеслом, как и всякое другое дело. Конечно, я ничего в этом не понимаю. Я лишь рассуждаю здраво. Вы ведь не можете надеяться стать кузнецом, не потратив три года на обучение ремеслу — или пять лет! А писателям платят гораздо больше, чем кузнецам, значит, должно быть множество людей, которые хотели бы писать и которые... пытаются писать.

— Но разве я не могу быть особым образом создан для писательства? — спросил он.

Втайне он ликовал от собственных слов. Его стремительное воображение развернуло перед ним всю сцену и атмосферу, а вместе с ними — тысячу других картин его жизни, грубых и необузданных, низких и звериных.

Всё это сложное видение возникло со скоростью света, не вызвав ни паузы в разговоре, ни нарушения спокойного течения его мыслей.

На экране своего воображения он видел себя и эту милую, прекрасную девушку сидящими друг против друга и говорящими на хорошем английском в комнате, полной книг и картин, утончённости и культуры, залитой ярким, ровным светом. А вокруг, постепенно удаляясь к краям экрана, располагались противоположные картины — каждая отдельной сценой, — и он был зрителем, свободным по своему желанию смотреть на то, что ему угодно.

Он видел эти другие сцены сквозь струящиеся испарения и клубы мрачного тумана, растворявшиеся под ударами красного, резкого света.

Он видел ковбоев у стойки, пьющих крепкий виски; воздух был наполнен непристойностью и грубой бранью. Он видел себя среди них — пьющим и ругающимся вместе с самыми отчаянными, — или сидящим с ними за столом под чадящими керосиновыми лампами, где щёлкали и гремели фишки и раздавались карты.

Он видел себя по пояс обнажённым, с голыми кулаками, сражающимся в великой схватке с Ливерпулем Рэдом в кубрике *Susquehanna*; видел окровавленную палубу *John Rogers* в то серое утро попытки мятежа, старшего помощника, бьющегося в предсмертных судорогах на главном люке, револьвер в руке капитана, извергающий огонь и дым, людей с искажёнными страстью лицами, этих зверей, изрыгающих мерзкие проклятия и падающих вокруг него...

И затем он снова возвращался к центральной сцене — спокойной, чистой, залитой ровным светом, где Руфь сидела и разговаривала с ним среди книг и картин. Он видел и рояль, на котором однажды она будет играть для него; и слышал отзвук собственных, тщательно подобранных и правильных слов:

— Но разве я не могу быть особым образом создан для писательства?

— Но как бы человек ни был одарён для кузнечного дела, — со смехом ответила она, — я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь становился кузнецом, не пройдя сначала ученичество.

— Что бы вы мне посоветовали? — спросил он. — И не забывайте, что я чувствую в себе способность писать. Я не могу объяснить её; я просто знаю, что она во мне есть.

— Вы должны получить основательное образование, — ответила она, — независимо от того, станете вы в конце концов писателем или нет. Такое образование необходимо для любой выбранной вами карьеры, и оно не должно быть поверхностным или отрывочным. Вам следует поступить в среднюю школу.

— Да... — начал он, но она, вспомнив ещё кое-что, перебила его:

— Конечно, вы могли бы одновременно продолжать писать.

— Мне пришлось бы, — мрачно сказал он.

— Почему?

Она посмотрела на него с милым недоумением, потому что ей не совсем нравилось, с каким упрямством он цеплялся за свою мысль.

— Потому что без писательства не было бы и средней школы. Мне нужно на что-то жить и покупать книги и одежду, знаете ли.

— Я об этом забыла, — засмеялась она. — Почему вы не родились с доходом?

— Я предпочёл бы хорошее здоровье и воображение, — ответил он. — С доходом я ещё справлюсь, но остальное приходится обеспечивать...

Он чуть было не сказал: «вам», но исправил себя:

— приходится обеспечивать самому.

— Не говорите «справлюсь», — с милой капризностью воскликнула она. — Это просто-речие, и оно ужасно.

Он покраснел и пробормотал:

— Верно. И я только хотел бы, чтобы вы исправляли меня каждый раз.

— Я... я хотела бы, — нерешительно сказала она. — В вас так много хорошего, что я хочу увидеть вас совершенным.

Он тотчас же оказался в её руках словно глина — так страстно желал, чтобы она лепила его, как сама она желала сформировать его по образу своего идеала мужчины.

И когда она указала, что время самое подходящее — вступительные экзамены в среднюю школу начинались в следующий понедельник, — он тотчас вызвался сдавать их.

Потом она играла и пела для него, а он жадно, с тоской смотрел на неё, впитывая её красоту и удивляясь, почему здесь не сидят сотни поклонников, слушающих её и жаждущих её так же, как он.

ГЛАВА X

В тот вечер он остался на ужин и, к большому удовольствию Руфь, произвёл хорошее впечатление на её отца. Они говорили о море как о профессии — теме, которую Мартин знал досконально, — и впоследствии мистер Морс заметил, что молодой человек производит впечатление весьма здравомыслящего.

Стараясь избегать просторечий и подыскивая правильные слова, Мартин был вынужден говорить медленно, и это позволяло ему находить лучшие из тех мыслей, какие в нём таились. Он чувствовал себя гораздо свободнее, чем в тот первый вечер почти год назад, а его застенчивость и скромность даже понравились миссис Морс, которая была довольна заметными переменами в нём.

— Он первый мужчина, который когда-либо привлёк мимолётное внимание Руфь, — сказала она мужу. — Она всегда была до странности равнодушна к мужчинам, и я очень из-за этого беспокоилась.

Мистер Морс с любопытством посмотрел на жену.

— Ты хочешь использовать этого молодого моряка, чтобы пробудить её? — спросил он.

— Я хочу, чтобы она не умерла старой девой, если только я могу этому помешать, — ответила она. — Если этот молодой Иден сумеет пробудить в ней интерес к человечеству вообще, это будет хорошо.

— Очень хорошо, — заметил он. — Но предположим — а иногда, дорогая моя, мы должны предполагать, — предположим, он пробудит в ней слишком сильный интерес именно к себе?

— Невозможно, — рассмеялась миссис Морс. — Она старше его на три года, и, кроме того, это невозможно. Ничего из этого не выйдет. Предоставь это мне.

Так роль Мартина была определена за него, тогда как он сам, увлечённый Артуром и Норманом, обдумывал безумную затею.

В воскресенье утром они собирались отправиться кататься на велосипедах по холмам. Это не интересовало Мартина до тех пор, пока он не узнал, что Руфь тоже ездит на велосипеде и собирается поехать с ними.

Сам он не ездил и велосипеда не имел, но если Руфь ездит, значит, и ему следует начать, решил он. И, пожелав всем спокойной ночи, по дороге домой зашёл в велосипедную лавку и потратил сорок долларов на велосипед.

Это было больше месячного тяжёлого заработка и заметно уменьшило его запас денег; но когда он прибавил сто долларов, которые должен был получить от Examiner, к четырёмстам двадцати долларам — минимальной сумме, которую мог заплатить The Youth's Companion, — ему показалось, что проблема, вызванная непривычно большой суммой денег, разрешена.

Он не жалел даже о том, что, пока учился ехать домой на велосипеде, испортил свой костюм. В ту же ночь из магазина мистера Хиггинботэма он позвонил портному и заказал ещё один костюм.

Потом он поднял велосипед по узкой лестнице, которая, словно пожарная лестница, цеплялась за заднюю стену здания, и, отодвинув кровать от стены, обнаружил, что в маленькой комнате как раз хватает места для него самого и велосипеда.

В воскресенье он собирался посвятить день подготовке к вступительному экзамену в среднюю школу, но статья о ловле жемчуга увлекла его, и он провёл весь день в белом жару, заново создавая красоту и романтику, которые горели в нём.

То, что утренний выпуск Examiner не опубликовал его статьи об охотниках за сокровищами, ничуть не поколебало его духа. Он находился на слишком большой высоте, чтобы это

могло его задеть, и, дважды не услышав, как его зовут к столу, остался без тяжёлого воскресного обеда, которым мистер Хиггинботэм неизменно украшал свой стол.

Для мистера Хиггинботэма такой обед был символом его мирского успеха и благополучия, и он читал его, произнося банальные проповеди о государственных установлениях Америки и о тех возможностях, которые эти установления предоставляют всякому трудолюбивому человеку подняться наверх, — подъёмом в его собственном случае неизменно назывался путь от приказчика в бакалейной лавке до владельца магазина Хиггинботэма.

В понедельник утром Мартин со вздохом посмотрел на незаконченную «Ловлю жемчуга» и сел в трамвай до Окленда, в среднюю школу.

А спустя несколько дней, когда он пришёл узнать результаты экзаменов, выяснилось, что он провалился по всем предметам, кроме грамматики.

— Ваша грамматика превосходна, — сообщил ему профессор Хилтон, глядя на него из-за толстых очков, — но в остальных предметах вы ничего не знаете, абсолютно ничего; а ваша история Соединённых Штатов просто ужасна — другого слова нет, ужасна. Я советовал бы вам...

Профессор Хилтон замолчал и сурово посмотрел на него — холодный и лишённый воображения, как его собственные пробирки.

Он преподавал физику в средней школе, имел большую семью, скудное жалованье и ограниченный запас знаний, заученных наизусть, словно попугаем.

— Да, сэр, — смиренно сказал Мартин, желая только одного: чтобы человек за библиотечным столом сейчас оказался на месте профессора Хилтона.

— И я советовал бы вам вернуться в начальную школу по меньшей мере на два года. Всего доброго.

Мартин не слишком тяжело воспринял свой провал, хотя был удивлён потрясённым выражением лица Руфь, когда рассказал ей о совете профессора Хилтона.

Её разочарование было столь очевидным, что ему стало жаль, что он не сдал экзамены, — но главным образом ради неё.

— Видите, я была права, — сказала она. — Вы знаете гораздо больше любого ученика, поступающего в среднюю школу, и всё же не можете сдать экзамены. Это потому, что ваше образование отрывочно, поверхностно. Вам нужна дисциплина учёбы, которую могут дать только опытные преподаватели. Вам необходимо заложить прочный фундамент. Профессор Хилтон прав, и на вашем месте я пошла бы в вечернюю школу. За полтора года вы, возможно, сможете наверстать эти дополнительные полгода. Кроме того, это оставит вам дни для писательства; а если вы не сможете зарабатывать пером, у вас останутся дни, чтобы работать где-нибудь.

«Но если мои дни будут заняты работой, а ночи — школой, когда же я буду видеться с тобой?» — такова была первая мысль Мартина, хотя произнести её он не решился.

Вместо этого он сказал:

— Мне кажется таким детским ходить в вечернюю школу. Но я бы не возражал, если бы считал, что это окупится. А я не думаю, что окупится. Я могу выполнить работу быстрее, чем они способны её преподавать. Это будет потерей времени... — он подумал о ней и о своём желании обладать ею, — а я не могу позволить себе тратить время. У меня его, собственно, совсем нет.

— Есть так много необходимого.

Она мягко посмотрела на него, и он почувствовал себя грубияном, осмеливающимся ей противоречить.

— Физику и химию вы не сможете изучить без лабораторных занятий; а алгебра и геометрия покажутся вам почти безнадежными без преподавателя. Вам нужны опытные учителя, специалисты в искусстве передавать знания.

Он помолчал минуту, подыскивая способ выразить свою мысль как можно менее самоуверенно.

— Пожалуйста, не думайте, что я хвастаюсь, — начал он. — Я вовсе не это имею в виду. Но мне кажется, что я, так сказать, прирождённый ученик. Я могу заниматься сам. Мне это легко даётся, как утке вода. Вы сами видели, что я сделал с грамматикой. И я многому научился в других областях — вы даже не представляете, сколь многому. А я только начинаю. Подождите, пока я наберу...

Он замолчал и, прежде чем произнести слово «momentum», убедился, что правильно его выговаривает.

— ...ход. Теперь я впервые по-настоящему чувствую, что делаю. Я начинаю понимать, каково моё положение...

— Пожалуйста, не говорите «понимать, каково моё положение», — перебила она.

— Получить представление о происходящем, — поспешно исправился он.

— Это не значит ничего в правильном английском, — возразила она.

Он беспомощно искал новый путь.

— Я хочу сказать, что начинаю понимать, как всё устроено.

Из жалости она не стала его перебивать, и он продолжил:

— Знание представляется мне чем-то вроде картографической комнаты на корабле. Каждый раз, когда я вхожу в библиотеку, у меня возникает именно такое ощущение. Роль учителей состоит в том, чтобы систематически познакомить ученика с содержимым этой комнаты с картами. Учителя — проводники по ней, вот и всё. Знания не находятся у них в голове как их собственное изобретение. Они ничего не придумывают и не создают. Всё уже есть в этой комнате, они лишь знают, как в ней ориентироваться, и их дело — показывать её незнакомцам, которые иначе могут заблудиться.

А я не так легко теряюсь. У меня, так сказать, есть чувство направления. Я обычно знаю, где нахожусь...

— Что теперь не так? — спросил он.

— Не говорите «где я нахожусь».

— Верно, — благодарно сказал он. — Где я. Но где я нахожусь... то есть, где я? Ах да, в картографической комнате. Так вот, некоторые люди...

— Лица, — поправила она.

— Некоторые лица нуждаются в проводниках, большинство нуждается; но, думаю, я могу обойтись без них. Я провёл много времени в этой комнате с картами и уже начинаю понимать, как в ней ориентироваться, к каким картам мне обращаться, какие берега исследовать. И, судя по тому, как я всё это представляю, один я исследую гораздо быстрее. Скорость флота, знаете, определяется скоростью самого медленного корабля, и с учителями то же самое. Они не могут двигаться быстрее основной массы учеников, а я могу задать себе более быстрый темп, чем они задают целому классу.

— «Кто путешествует один, тот путешествует быстрее», — процитировала она.

«Но с тобой я всё равно путешествовал бы быстрее», — хотел выпалить он, когда перед ним возникло видение бесконечного мира солнечных пространств и звёздных пустот, сквозь которые он плыл вместе с ней, обняв её, а её бледно-золотые волосы развевались у его лица.

В то же мгновение он осознал жалкую недостаточность речи.

Боже! Если бы только он мог подобрать слова так, чтобы она увидела то, что видел он!

И он почувствовал в себе движение, словно мучительный спазм тоски, — желание нарисовать эти видения, которые сами собой вспыхивали на зеркале его сознания.

Вот оно что!

Он ухватился за край тайны.

Именно это делали великие писатели и великие поэты. Поэтому они и были великанами. Они умели выражать то, что думали, чувствовали и видели.

Собаки, спящие на солнце, часто поскуливают и лают, но они не способны сказать, что именно видят такого, отчего им хочется скулить и лаять. Он часто задавался вопросом, что же они видят.

И вот он был тем же — собакой, спящей на солнце.

Он видел благородные и прекрасные видения, но мог лишь скулить и лаять перед Руфь.

Но он больше не будет спать на солнце.

Он встанет с открытыми глазами и будет бороться, трудиться и учиться до тех пор, пока, с незатуманенным взглядом и развязанным языком, не сможет поделиться с ней богатством своих видений.

Другие люди открыли секрет выражения — научились делать слова послушными слугами и заставлять сочетания слов означать больше, чем простая сумма их отдельных значений.

Мимолётный взгляд на эту тайну глубоко взволновал его, и он снова оказался унесён видением солнечных пространств и звёздных пустот — пока не заметил, что вокруг стало очень тихо, и не увидел, что Руфь смотрит на него с улыбкой и лёгким удивлением в глазах.

— У меня было великое видение, — сказал он.

И, услышав собственные слова, сердце его подпрыгнуло.

Откуда взялись эти слова?

Они так точно выразили ту паузу, которую видение внесло в разговор.

Это было чудо.

Никогда ещё ему не удавалось так возвышенно облечь в слова возвышенную мысль.

Но ведь прежде он никогда и не пытался облекать возвышенные мысли в слова.

Вот в чём дело.

Вот что всё объясняло.

Он никогда не пытался.

А Суинберн пытался. И Теннисон. И Киплинг. И все остальные поэты.

Мысль его мгновенно перенеслась к «Ловле жемчуга».

Он никогда не осмеливался браться за великое, за самую сущность красоты, которая горела в нём.

Эта статья станет совсем иной, когда он закончит её.

Он был поражён необъятностью красоты, которая по праву должна была в ней содержаться, и снова его мысль вспыхнула и осмелилась; и он спросил себя, почему не может воспеть эту красоту благородным стихом, как великие поэты.

И ещё была вся таинственная радость и духовное чудо его любви к Руфь.

Почему он не мог воспеть и это так же, как делали поэты?

Они пели о любви.

И он будет.

Боже мой!

И в испуганных ушах он слышал отзвук собственного восклицания.

Увлёкшись, он произнёс его вслух.

Кровь хлынула ему в лицо волна за волной, захлестнула бронзовый загар, пока румянец стыда не вспыхнул от края воротника до самых корней волос.

— Я... я прошу прощения, — пробормотал он. — Я задумался.

— Это прозвучало так, будто вы молились, — смело сказала она, хотя внутри почувствовала, как всё в ней съёживается и увядает.

Впервые она слышала ругательство из уст знакомого ей мужчины и была потрясена — не только из принципиальных соображений и вследствие воспитания, но и самой душой: этот грубый порыв жизни ворвался в сад её защищённого девичества.

Но она простила его — и сама удивилась тому, как легко ей это далось.

Почему-то ей было не так трудно прощать ему что угодно.

Он ведь не имел возможности быть таким, как другие мужчины, а теперь так старался — и так успешно.

Ей и в голову не приходило, что может существовать какая-либо иная причина её доброжелательности к нему.

Она была нежно расположена к нему, но сама этого не знала.

Она не могла этого знать. Спокойное равновесие двадцати четырёх лет, прожитых без единой любовной истории, не наделило её проницательностью в отношении собственных чувств; и она, никогда прежде не знавшая настоящей любви, не замечала, что теперь сама начинает согреваться ею.

ГЛАВА XI

Мартин снова принялся за статью о ловле жемчуга, которую закончил бы гораздо раньше, если бы не постоянные попытки писать стихи. Стихи были любовными, вдохновлёнными Руфь, но закончить их ему никак не удавалось. Не за один день можно было научиться слагать благородные стихи. Рифма, метр и композиция сами по себе представляли достаточно серьёзные препятствия, но, помимо них, существовало ещё нечто неуловимое и ускользающее — то, что он чувствовал во всякой великой поэзии, но никак не мог уловить и заключить в собственной. Это был сам дух поэзии — неуловимый и недостижимый. Он ощущал его, искал его, но поймать не мог. Ему казалось, что это сияние, тёплый стелющийся пар, который всегда оставался за пределами его досягаемости; лишь иногда ему удавалось ухватить его клочья и вплести их в строки, звучавшие в его мозгу чарующими отголосками или проплывавшие перед глазами туманным веянием незримой красоты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.